

Человек, который видел сквозь лица

Автор:

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Человек, который видел сквозь лица

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Азбука-бестселлер

Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен кровавым терактом. Взрыв на паперти собора повлек за собой немало жертв. Подозревают, что за ним стоят религиозные фанатики. Огюстен, бездомный юноша, которому удалось получить стажировку в местной газете, оказывается вовлеченным в эти события. Пытаясь доказать свою пригодность к журналистике, он начинает собственное расследование. Незаметный, выросший в приюте паренек наделен уникальным даром – видеть крошечные существа, парящие над людьми. Кто это – ангелы, демоны, воспоминания, быть может, мертвецы, которые не смирились со своей участью?.. Неужто он сходит с ума или, быть может, он и есть тот мудрец, которому дано расшифровать чужое безумие? Эрик-Эмманюэль Шмитт в присущей ему оригинальной манере продолжает свое исследование духовных тайн человека...

Впервые на русском!

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Человек, который видел сквозь лица

Eric-Emmanuel Schmitt

L'HOMME QUI VOYAIT ? TRAVERS LES VISAGES

Серия «Азбука-бестселлер»

Copyright © Editions Albin Michel, S.A. – Paris 2016

© И. Волевич, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА

* * *

1

– Дрыхнешь?!

Я хотел бы выкрикнуть «нет!» этому голосу, но предпочитаю смолчать и не размыкать век. Стоит произнести хоть одно слово, как оно вырвет меня из моего волшебного сна.

Я стою на лужайке, обрызганной солнечными зайчиками; старик с белоснежной бородой протягивает мне цветок ириса и указывает на коня. К великому своему удивлению, я вскакиваю на его бурую спину – а я и не знал, что могу ездить на лошади без седла; да что там – не знал даже, что я вообще умею ездить верхом; и, вскочив, обещаю старцу исполнить возложенное на меня поручение. Он отвечает мне улыбкой, и из его тонкогубого рта вырываются на волю звонкие

птичьих трели. Сверкает солнце.

– Он что, и вправду дрыхнет?

Я выжидаю несколько секунд. Если эта пауза продлится, я смогу достичь своей цели – домчатся до замка. Напрягшись, крепко сжав поводья, чувствую, как парю между двумя мирами – реальным, где мои колени стиснули горячие лошадиные бока, и другим, абстрактным, где посмел ненадолго закрыть глаза и отключить слух. Друид, стоящий передо мной, склоняет голову к плечу: он недоволен, что я все еще топчусь на месте. Ох, как меня сковывает, как парализует этот голос – и ведь ни за что не оставит в покое, а вышвырнет вон из моих грез!

К счастью, тишина еще длится... И я с облегчением снова окунаюсь в покой того мира, где мой скакун во весь опор несется через лес. Я наслаждаюсь его скоростью, его легкостью, грацией, с которой он огибает препятствия, перемахивает через лужи и опускает голову, чтобы не задеть ветви. Его копыта уже не касаются земли.

– Ты спишь, мой миленький? – шепчет неожиданно смягчившийся голос.

Меня пронизывает горячая дрожь. Кажется, я его узнаю – этот голос. На небосводе, высоко над кронами деревьев, возникает лицо моей матери, огромное, нежное, сияющее, доброе. Она ободряет меня. Побуждает скакать еще быстрее. О счастье... На всем протяжении этой скачки я чувствую ее ласковое присутствие.

– А ну, вставай, кретин!

Удар в плечо. Я шатаюсь. Теряю равновесие.

В первом мире я рухнул с лошади, во втором – упал со стула.

Упал – и валяюсь, одуревший, разбитый, с горькой слюной во рту и саднящей болью в ушибленном боку.

Поневоле размыкаю веки. Прощай, лес, прощай, дорога и мой горячий конь! Я прихожу в себя посреди тесного закутка, который мне выделили в редакции «Завтра» – ежедневной газеты Шарлеруа[1 - Шарлеруа – город в валлонской части Бельгии, на реке Самбр, в 50 км южнее Брюсселя. (Здесь и далее – примеч. перев.)]. Мать исчезла – что неудивительно, ведь она умерла при моем рождении, – и вместо ее лица я вижу багровую рожу нашего шефа Филибера Пегара. Грузный, толстобрюхий, полнокровный, разъяренный, как бык, он грозно вращает глазами, испепеляя меня презрительным, бессмысленным взглядом.

– Огюстен, тебе здесь платят не за то, чтоб ты дрых на работе!

Вставая на ноги, я собираюсь ему напомнить, что работа стажера в его газете никак не оплачивается, но робость мешает мне возразить, хотя меня так и распирает от возмущения. И я трусливо иду на попятную:

– Простите меня, месье Пегар.

Из соседних отсеков доносятся смешки.

Патрон брезгливо фыркает и отводит взгляд, так же как и коллеги, издали наслаждавшиеся этой сценой. Я всем внушаю отвращение.

Вконец подавленный общей неприязнью, опрокидываю стул, пытаюсь на него сесть.

– О, пардон... пардон...

Ну вот, теперь я извиняюсь перед стулом... час от часу не легче.

У меня жалкая внешность, и я это знаю... Скорее долговязый, чем высокий, я не могу похвастаться своим телом – оно больше напоминает стебель, хилый стебель, клонящийся под тяжестью головы с шишковатым затылком и вытянутой вперед шеей; все это уподобляет мою тощую фигуру вешалке. Даже стоя прямо, я кажусь поникшим. Мою худобу никак нельзя назвать хрупкостью: когда я обнажаю руки, видны одни только жилы и никаких мускулов; в бассейне (еще одна пыточная камера, которую я стараюсь обходить стороной) демонстрирую сплошные впадины в тех местах – на груди, на ягодицах, – где нормальные люди

выставляют напоказ рельефные выпуклости; снимая носки, открываю две худущие стопы, на которых легко пересчитать все косточки. Что же касается красок, то моей наготы присущ один-единственный цвет – блекло-бежевый: блеклая кожа, блеклая шевелюра, блеклые глаза, блеклая растительность на теле. Лежа на песке, я становлюсь невидимым. Незаметность гарантирована!

И хотя я уделяю своей внешности мало времени, иногда мне все же случается искать в зеркале то, что могло бы хоть кому-то понравиться; увы, всякий раз какое-нибудь непредвиденное обстоятельство мешает достижению результата.

Инспектор социальной службы, с которой мне приходится регулярно общаться, утверждает, что я себя не люблю. Это не так... Я склонен высоко оценивать собственную персону, это окружающих от меня тошнит! Моя незначительность бросается в глаза: она стесняет людей, раздражает, даже злит, а жалкая внешность побуждает их к самым нелицеприятным комментариям. И тщетно я жмусь к стенке, надеясь сделаться невидимым, – меня замечают, пристально разглядывают, а потом презрительно сплевывают, бросая мне в лицо оскорбления. «Такая физиономия прямо-таки просит затрещины!» – буркнул однажды приютский воспитатель, когда мне было шестнадцать лет. И теперь, когда мне уже двадцать пять, я с горечью констатирую, что это определение не утратило силы.

По причине, так и оставшейся для меня непостижимой, люди вменяют мне в вину мою незавидную внешность и упрекают в том, что я мозолю им глаза своей жалкой фигурой. Я был и остаюсь жертвой, которую обвиняют, которая не вызывает ни малейшего сочувствия. Уж лучше бы мне страдать настоящим, физическим увечьем: слепой, парализованный, однорукий, я, наверно, хоть изредка внушал бы какое-то уважение... Иногда мне кажется, что окружающие угадывают и мою трусость...

– Ну, так как же, Огюстен, в чем ты пытаешься нас убедить? В том, что ты, юный стажер с неумеренными амбициями, переполнен гениальными идеями, а? Надеюсь, ты не думаешь, что взят сюда на работу для того, чтоб сладко подремывать в тепле, а ведь я уже в третий раз застаю тебя на месте преступления!

В трубном гласе Филибера Пегара звучит обличительный пафос; он уверен, что я неотреагирую. Я-то знаю, какую ловушку он мне расставляет. Вопрос в том, попадусь ли я в нее. Это привело бы его в восторг.

Видя, что я молчу, он приходит в веселое расположение духа. На самом деле если он разочарован во мне, то вполне очарован самим собой.

- Я тут подумал об интервью...

Пегар даже подпрыгнул, так его поразило, что я осмелился подать голос.

- Что-о-о?

- Мы могли бы брать интервью у представителей местных властей, узнавать их мнение о событиях в мире, о кризисе, о нестабильности, о...

- МЫ?

- Ну, я имею в виду - газета.

- Уж не ты ли?!

- А почему нет...

Я даже побледнел, испугавшись собственной отваги. Директор громогласно зовет к журналистам:

- Бойтесь за свои места, друзья мои: наш малек-стажер вознамерился интервьюировать сильных мира сего! Скоро вам придется работать в ежедневной газете международного масштаба, не имеющей ничего общего с нынешним жалким изданием, которое позволяет вам зарабатывать на хлеб насущный; но, скорее всего, вам грозит безработица, ибо месье Огюстен Тролье один заменит всех вас!

Наш директор величает этим «месье» только тех, кого хочет размазать по стенке.

- Ну-с, и кого же Ваше Наглейшество желает интервьюировать? Давай-ка, покажи свой список, разреши нам попользоваться твоими адресами! Кто там у тебя первый? Папа римский? Король обеих сторон Луны? А может,

реанимируешь де Голля, Ганди или Чингисхана? Да ты никогда в жизни и рядом не стоял с какой-нибудь важной персоной, жалкий червяк!

И он, грозно хмурясь, мерит меня презрительным взглядом.

Я открываю рот, чтобы возразить, но из него не вырывается ни единого звука. И съеживаюсь, как сдутый воздушный шарик. Оконное стекло напротив безжалостно отражает мое лицо, на котором написана глупая беспомощность. Все споры неизменно разворачиваются по одинаковому сценарию: когда меня оскорбляют, я делаю глубокий вдох, задерживаю воздух в легких и... прикусываю язык, так и не подыскав нужных слов. Физически все у меня в порядке, а вот в интеллектуальном отношении я какой-то заторможенный. Образно выражаясь, лук у меня есть, а вот стрел не хватает.

Босс, раздраженный вконец, рычит:

- А ну, давай на улицу!

Коллеги тут же перестают на нас пялиться и, пригнувшись, погружаются в работу: кто уставился на монитор, кто строчит статью, кто роется в папках; они уже хлебнули этого унижения – уличного репортерства – и боятся, как бы приказ Пегара рикошетом не обрушился на них.

- На улице я полный ноль.

- Да ты всюду полный ноль! Давай, быстро вали на тротуар! Неси все, что найдешь в сточной канаве. Можешь хотя бы собирать мусор – или тоже нет?

Подчиниться. И быстренько отправиться выполнять приказ, пока он не успел придумать чего-нибудь покруче. Натягивая плащ, вязаную шапку и шерстяные перчатки, я все же собираюсь объяснить ему, почему я задремал в редакции, почему за последние дни...

Но Пегар уже исчез.

Я беспомощно топчусь на вытертом ковролине. В помещении царит усердная рабочая тишина.

Прохожу по отделам редакции; при моем появлении коллеги срочно погружаются в работу; они все сторонятся меня, словно я заразный больной. Словно я приношу несчастье...

Сворачиваю в боковой коридор, к туалету, с трудом выжимаю несколько подозрительно темных капель из мочевого пузыря, потом останавливаюсь возле редакционной кухоньки. Стою в нерешительности. Сердце бьется как сумасшедшее. Кажется, поблизости никого? А вдруг там завалялось что-нибудь съестное – плитка шоколада, печенье, корка хлеба, конфетка, наконец. Сколько времени я ничего не ел? Обследую полки, раковину – везде пусто. Осторожно приоткрываю дверцу холодильника и обнаруживаю початую банку пива. Почему бы и нет? Пиво все же питательнее простой воды, хотя в моем состоянии и капля алкоголя опасна...

Но тут в банку вцепляется чья-то толстая ручища, вся в кольцах. Уборщица! Она хватается за банку и подносит к широченному рту, прорезающему ее голову без шеи, словно навинченную прямо на туловище. Ее набухшие веки так жирно обмазаны синими тенями, что ей и мигать трудно. Она залпом осушает банку, прищелкивает языком, вытирает губы и, блаженно вздохнув, рыгает.

Отрыгавшись, она устремляет на меня мутный полупьяный взор, щурясь так, словно разглядывает отдаленный предмет, тогда как я стою в полуметре от нее, щерится, изображая подобие улыбки, а затем, шаркая тапочками, на которые свисают перекрученные чулки, неверной поступью идет в угол, хватается за швабру и начинает протирать пол. Судя по тому, как она вцепилась в палку, швабра нужна ей скорее для того, чтобы устоять на ногах, а не для уборки.

Убедившись, что она уже забыла обо мне, я достаю банку из мусорного ведра, куда она ее закинула, и высасываю остатки пива. Горьковатый вкус хмеля оживляет мой высохший язык, горло принимает несколько жалких капель осадка с наслаждением, обратно пропорциональным их количеству. Ах, как бы узнать, где эта чертова Умм Кульсум прячет свои запасы спиртного...

Я впиваюсь глазами в эту «сотрудницу» нашей газеты. Мне иногда удается, сконцентрировав внимание на каком-нибудь человеке, разгадать его секреты. Но, как правило, я к этому опыту не прибегаю: в душе человеческой таится слишком много ужасов, без которых я прекрасно обошелся бы. Однако сегодня я так оголодал, что даже не колеблюсь. И сверлю взглядом жирный загривок уборщицы.

«Где ты прячешь свои запасы пива?» – вопрошает мой мозг, пытаюсь проникнуть в ее мысли.

Тщетно: Умм Кульсум закрыта наглухо.

Никакой информации от нее не поступает.

Все ее квадратное тело, одинаковое что в длину, что в ширину, обтянутое трикотажным платьем с узором в виде кувшинок, представляет собой непробиваемую скалу. Алкоголь, которым она наливается по самые глаза, держит меня на расстоянии – приближаться к ней так же опасно, как к заполненной помойной яме.

Вновь мысленно задаю ей вопрос о пиве.

Она останавливается, закрывает глаза и, опершись подбородком на ручку швабры, начинает вилять бедрами – наверно, воображает, будто танцует. И мне чудится вокруг нее музыка – томные скрипичные глиссандо, игривое журчание цитр, приглушенное уханье барабанов и какие-то загадочные слова – *Hayart Albi Ma'ak, Fat al-ma'ad...*[2 - Сердце мое из-за тебя смутилось; пропало то, что было обещано... (араб.)] Наверняка она про себя поет, но, увы, эта монотонная невнятица скрывает от меня ее тайны, превращая их в неприступную крепость.

Умм Кульсум выше меня ростом. Впрочем, она выше всех наших сотрудников, даром что стоит в самом низу социальной лестницы. И хотя убирает она скверно и по телефону отвечает через пень-колоду – а это две единственные ее обязанности, – Пегар никогда ее не бранит; он смиряется с тем, что она оставляет пыль по углам, забывает вытряхивать мусор из корзин, не подходит к телефону и не благодарит рассельных, – смиряется и молчит.

Месяц назад, едва начав работать в редакции, я стал расспрашивать коллег, откуда эта привилегия и почему Умм Кульсум избавлена от гнева патрона?

– Понятия не имеем, – ответили они. – Если она тебе объяснит, беги к нам, расскажешь.

Сегодня, пристань ко мне с этим вопросом какой-нибудь новичок, я бы огрызнулся точно так же.

А Умм Кульсум осталась тайной – тайной, которую те скудные сведения, что могли бы приподнять над ней завесу, делают ее еще более непроницаемой.

Вообще-то, Умм Кульсум родилась мальчиком и поначалу звалась Робером Пеетерсом. Как-то утром Робер Пеетерс, уже достигший сорокалетнего возраста, сидел за игрой в шашки в каком-то бистро, где радиоприемник голосил во всю мочь песню «Вспомни обо мне!»[З - «Вспомни обо мне» – слова из песни «Озкорини». Исполнительница Умм Кульсум (1904–1975) – знаменитая египетская эстрадная певица.], и вдруг он осознал, что в предыдущей жизни был женщиной, и не абы какой женщиной, а несравненной арабской певицей Умм Кульсум, звездой Востока, соловьем Каира, Бессмертной, той, кого прозвали «четвертой пирамидой»! Потрясенный этим открытием, он преобразился с невиданной быстротой – начал ходить в женских туфлях, носить платья, обматывать голову тюрбаном, затем обратился в ислам и бросил свое ремесло бондаря, сменив его на более женственную профессию. Никто не знает, подвергся ли он операции. И никому даже в голову не придет это проверять, ибо, если не считать апломба, нарядов, вызывающего макияжа и прически, в Умм Кульсум нет ровно ничего женского: могучая фигура водителя-дальнобойщика, волосатые руки, черная щетина, пробивающаяся к вечеру сквозь тональный крем, пивное брюхо и луженая глотка жандарма. Наш спортивный обозреватель, рыжий Лафуин, уверяет, что Умм Кульсум сохранила все атрибуты мужского пола и не колет себе гормоны.

Умм Кульсум царит в редакции газеты «Завтра». Восседавая за высокой стойкой красного дерева, она обводит мутным, но высокомерным взглядом каждого входящего и выходящего. И все, кто появляется в поле ее зрения, чувствуют себя обязанными приветствовать ее – иными словами, изобразить поклон, на который она никогда не отвечает. Если мы о чем-то просим ее, то неизменно почтительным или даже слегка заискивающим тоном, – впрочем, это «что-то» в присутствии Умм Кульсум мгновенно перестает быть ее обязанностью, превращаясь в милость, которую она либо оказывает, либо нет. Когда звонит телефон, она взирает на него с омерзением и снимает трубку только после пятнадцатого звонка, дабы убедиться, что какому-то наглецу действительно позарез нужна редакция газеты. Ничто не может смутить Умм Кульсум. Когда звонящий слышит в трубке хриплый бас и называет ее «месье», она с царственным спокойствием поправляет его: «Мадам!» Однажды Лафуин ехидно

заметил ей:

– Вам, небось, уже надоело объяснять всем и каждому, что вы женщина?

– То же самое было в моей предыдущей жизни.

Интересно, где она живет? И с кем?

Проходя по узкому коридору к выходу, я нечаянно задеваю ее. Она вздрагивает от моего прикосновения, пораженная тем, что какой-то ничтожный смертный нарушил ее мечтательное забытие; оглядывает меня, застыв на месте и в сотый раз пытаюсь вспомнить, кто я такой, потом, убедившись в бесплодности своих усилий, снова начинает возить шваброй по линолеуму.

Как раз у выхода находится кабинет шефа, который оставил дверь открытой. Я притормаживаю: интересно, чем он занимается, когда не орет на нас?

Присев бочком на краешек письменного стола, Филибер Пегар курит сигару, глядя на улицу в окно, обрамленное темными бархатными портьерами. Полагая, что находится в полном одиночестве, он, вместо того чтобы терзать своих подчиненных, размышляет. Дымок его коричневой сигары безмятежно струится вверх из белого ободка пепла, но шеф не форсирует процесс курения, даже не подносит сигару к губам, а просто держит в руке, позволяя ей тихо тлеть, как будто хочет подольше сохранить ее в целостности.

Застыв на месте, я гляжу на эту необычную сцену.

Но, присмотревшись, замечаю, что он смотрит вовсе не в окно, а на маленькую девочку, еле различимую в полумраке, девочку лет семи, с белокурыми косичками, в платице из шотландки. Он улыбается ей, она строит ему кокетливые рожицы.

Кто же это? Ведь в редакцию детей не пускают...

Но тут девочка обнаруживает мое присутствие и радостно машет мне.

Я машинально отвечаю:

- Здравствуй!

Девочка испуганно зажимает рот обеими руками, словно я допустил серьезный промах, и прячется за Пегаром. Тот оборачивается ко мне:

- Какая муха тебя укусила? Чего это ты со мной здороваешься?

- Да я не с вами... я с девочкой...

И я тычу пальцем туда, где скрылась девочка, хотя сейчас не вижу ее. Пегар переспрашивает:

- С девочкой? Что еще за девочка?

- Ну... та. Которая сидела перед вами, а теперь спряталась.

Где же она? Я наклоняюсь то вправо, то влево, делаю шаг вперед, чтобы выяснить, где она притаилась, но она исчезла. Невероятно! Ее нигде нет. Тогда я опускаюсь на четвереньки и заглядываю под стол, за стол, под кресло, раздвигаю портьеры.

- Огюстен, ты рехнулся!

Нет, не могу понять, куда и как она ухитрилась скрыться.

- Но ведь тут была девочка! Лет семи, со светлыми косичками, в клетчатом платье!

Пегар багровеет, его глаза меркнут, руки дрожат.

- Ты шутишь? - бормочет он.

- И не думал! Я только не понимаю, как она могла исчезнуть.

- Как могла исчезнуть?..

Я подхожу ближе, стараясь разгадать этот фокус, но Пегар останавливает меня, схватив за шиворот, он буквально пышет ненавистью. Мне становится жутко: я чувствую, что он готов меня задушить.

- Да как ты... смеешь?!

Он так потрясен, что с трудом выговаривает слова:

- Как ты... смеешь?!

Твердя эту фразу, он приподнимает меня, выволакивает из кабинета и швыряет на пол в вестибюле.

- Ты мне за это заплатишь! Дорого заплатишь!..

Похоже, у него на глазах слезы. Он отворачивается и с грохотом захлопывает за собой дверь, оставив меня валяться на полу.

В замке поворачивается ключ. Слышны удаляющиеся шаги - это Пегар отошел в глубину комнаты, к окну.

И наступает мертвая тишина.

Я так и не уразумел, что же такое произошло, - эта девочка в кабинете, ее таинственное исчезновение, реакция Пегара...

Поднявшись, я кое-как отряхиваюсь. Из кабинета доносятся всхлипы, рыдания. Прикладываю ухо к двери.

Неужели девочка вернулась?

Но звуки становятся слышней, и мне уже ясно, что тяжелое дыхание, всхлипы и стоны, вырывающиеся из широкой груди, исходят от мужчины; это плачет Пегар, а не та загадочная девочка.

Если он сейчас обнаружит меня, свидетеля его слабости, то прикончит на месте, поэтому я спешно удаляюсь.

Выхожу на бульвар Одан, и меня тут же обдает резкой ледяной сыростью, словно холодным полотенцем по лицу. Дождя нет, но тротуар все равно покрыт блестящей влажной пленкой.

На скамейке сидит, зевая, пьяный. Несколько домохозяек идут домой с покупками. Под аркой топчутся двое подростков в куртках с надвинутыми на глаза капюшонами. Вон там пес потягивается. Еще только одиннадцать часов, в это время зевак почти не бывает. «На улицу!» – приказал Пегар, словно за дверью редакции меня дожидалась возбужденная толпа, переполненная желанием и амбициями, состоящая из тысяч индивидуумов, что несутся по жизни со скоростью сто километров в час, а в данный момент наперебой выкрикивают новости, одна другой пикантнее, из коих мне предстоит выбрать подлинные перлы, достойные фигурировать на страницах нашей газеты. Увы, Шарлеруа – это вам не Париж, не Лондон и не Нью-Йорк. Наш городок, даже бодрствуя, мирно спит; к обеду он едва продирает глаза, часам к четырем проявляет слабые признаки активности, а в вечерний час пик машины, слипшиеся в пробках, кажется, тяготеют скорее к покою, нежели к движению вперед. Шарлеруа давным-давно находится в состоянии анабиоза, так же как молочно-серые облака и вялые дожди над его крышами.

Я озираюсь. Рядом тяжело взлетает недовольный голубь.

Ну и где же мне почерпнуть информацию?

Самое лучшее было бы войти в какое-нибудь бистро, присесть на табурет у стойки и, попивая из бокала, слушать, как бармен и посетители обмениваются сплетнями. Но вот беда: эта операция требует, чтобы я пожертвовал на нее хоть несколько евро. А мои карманы прискорбно пусты. Да и не только карманы – желудок тоже.

Тротуар неожиданно кончается, а я этого не заметил. Подворачиваю ногу.

И падаю.

Эх, вот бы потерять сейчас сознание! И чтобы врачи скорой помощи привели меня в чувство и доставили в больницу, где мне дадут сэндвич, тарелку супа, компот...

Растираю лодыжку. Какая неудача – мне всего лишь больно. Но боль пройдет. И гораздо быстрее, чем чувство голода.

Наконец выпрямляюсь. Невдалеке от меня, метрах в двадцати, элегантно одетая женщина вынимает из корзинки яблоко и надкусывает его. В это время у нее жужжит мобильник. Она кладет свой «голден» на краешек скамейки, чтобы ответить на звонок.

Может, воспользоваться тем, что женщина отвлеклась, и стащить яблоко?

«Огюстен, сдержись!»

Моя порядочность предпочитает позору голод.

«Лучше иди и охотись за новостями. И принеси эти news в редакцию. Иначе...»

Но низменная сторона моей натуры тут же вступает в пререкания с совестью:

«А что тут такого?! В газете мне не платят и за человека не считают. Эта стажировка ни к чему путному не приведет. Лучше уж просить милостыню».

Пожав плечами, я иду по бульвару. Звонят колокола. В церкви на площади Карла Второго началась служба.

Ноги сами ведут меня в этом направлении, ведь там, дальше, находится фастфуд. Конечно, я туда не войду, но мало ли... вдруг кто-нибудь, выходя, бросит в мусорку картофельные чипсы или половину гамбургера. Вчера мне удалось закусить именно таким образом, я не брезгую чужими обедами.

Какой-то мужчина толкает меня на ходу.

Я чуть не шлепнулся, а он даже ничего не заметил.

Требовать извинений бесполезно – мне все равно не под силу драться, так что я просто приваливаюсь к стене и потираю ушибленное плечо.

Мой обидчик ведет себя крайне нервно, внезапно он бросается на другую сторону улицы. Теперь я разглядел его получше: лет двадцать на вид, толстая парка с капюшоном, чересчур просторная для такого худощавого тела, темная грива под вязаной шапкой, густая, коротко подстриженная бородка, черные, слегка расширенные зрачки. Он непрерывно вертит головой, беспокойно озираясь.

Странный тип, он меня заинтриговал.

А что это у него сзади, над самым плечом?

Вдруг он останавливается, теребит свои часы. Сейчас мне лучше видна птица, порхающая вокруг него.

Что же это за птица – ворона? Или дрозд?

Я прищуриваюсь, напрягаю взгляд.

Нет, это не птица... вообще непонятно что... какое-то чудо в перьях...

И тут мне кажется, что я схожу с ума. Может, я стал жертвой галлюцинации? Вместо животного я вижу крошечную фигурку человечка в черной джеллабе[4 - Джеллаба – традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный свободный халат с остроконечным капюшоном и широкими рукавами.], который разъяренно жестикулирует. Сглотнув слюну, я свирепо тру ладони о шершавую штукатурку, стараясь убедить себя, что это не сон.

Парень на другой стороне улицы вытирает пот со лба, дрожит, явно колеблется, потом решительно поворачивает назад. Человечек над его плечом беснуется, гримасничает, вопит. Я не различаю слов, но мне ясно, что это малюсенькое существо проклинает молодого человека.

Тот застывает на месте. Выслушивает то, что говорит ему крохотный человечек в джеллабе, закрывает глаза, делает глубокий вдох. И наконец кивает. Он

уступил. Еще мгновение, и чувствуется, что на него снизошел покой, безграничный покой. Маленькое существо, убедившись в своей победе, перестает злиться, говорит уже ровно и сдержанно, – видно, что оно все больше убеждается в покорности своего собеседника.

Парень явно воспрянул духом, он улыбается и что-то коротко говорит человечку. Все улажено. Они пришли к согласию.

И тут колокола умолкают.

Молодой человек смотрит на часы и снова делает глубокий вдох, видно решившись на что-то; он идет в прежнем направлении широкими шагами. Потом сворачивает за угол.

Я крадусь следом. Конечно, никаких новостей мне это не сулит, но меня крайне интересует загадочное существо, которое преследует парня, летая над ним, подобно воздушному змею, парящему в безветренном небе.

Парень выходит на восьмиугольную площадь Карла Второго. На паперти церкви Святого Христофора толпятся люди в траурной одежде, они только что вышли после заупокойной службы. Следом выносят гроб.

Парень подходит к церкви, поднимается по ступеням туда, где собралась толпа.

Я иду туда же, как вдруг мне на глаза попадает нечто интересное: слева я вижу пластиковый контейнер с жареной картошкой, лежащий поверх кучи мусора в урне. Картошка явно еще не остыла, – похоже, ее только что туда бросили.

Ну как тут удержаться?! Я плюю на слезку, хватаю коробочку и целыми горстями запихиваю в рот жареные ломтики, не веря своему счастью: неужели через несколько минут меня перестанет терзать голод?!

Мои зубы жадно впиваются в теплую мякоть. Я оживаю. Или нет еще, я сейчас оживу!

Так... а где же мой парень с его странным летучим спутником?

Обернувшись, я вижу его за фонтаном, в метре от служащих похоронного бюро, которые загружают гроб в черный лимузин.

И вдруг он распаивает свою парку, выкрикивает сорванным голосом какую-то фразу и делает резкое движение.

Раздается взрыв.

Что-то мелькает в воздухе.

Меня подхватывает мощная воздушная волна.

Я взлетаю.

И падаю.

2

- Ну вот, он уже слегка порозовел...

- Значит, приходит в себя...

Я смутно различаю голоса. Но на сей раз не сквозь дремоту – сейчас вокруг меня какая-то черная бездонная пропасть, непроницаемый мрак, где я покоюсь в блаженном забытии.

- Месье!

Мне тепло в этом мраке. Тепло и легко, все стало невесомым – и мое тело, и мои мысли. Освобожденный от того и от другого, я перестал быть самим собой. И это непривычное облегчение мне приятно.

- Да откройте же глаза!

Ну вот, опять...

- Откройте глаза!

В словах, обращенных ко мне, я улавливаю тревогу. Стоит ли реагировать?

- Откройте глаза!

Как, уже?

- Умоляю вас, откройте!

Нужно избавиться от этой панической обстановки, и я принимаюсь за дело, чувствуя, что способен выполнить приказ.

- Пожалуйста, откройте глаза!

- Как ты думаешь, он нас слышит?

Ну конечно же слышу. И конечно, открою глаза. Только потерпите немножко, я сейчас... я постараюсь...

- Месье, сейчас не время сдаваться, соберитесь с силами!

По настойчивости голосов я оцениваю, насколько я слаб. Веки меня не слушаются, они налиты свинцовой тяжестью, горят огнем. Чтобы поднять их, нужна сила штангиста. Делаю глубокий вдох и - хоп! - последнее усилие.

Ура!

Меня заливают дневной свет.

На фоне серого неба вижу два склоненных надо мной лица.

- Прекрасно, месье!

– Bravo!

– Как вы себя чувствуете?

Пытаюсь что-то выговорить, но мне мешает сжавшееся, забитое чем-то горло. К горлу подступает рвота.

И у меня хватает сил лишь на подобие слабой гримасы.

Лица благодарят меня ответными широкими улыбками.

– Вам не трудно дышать?

Обеспокоенный этим вопросом, я сосредотачиваюсь на дыхательном процессе – вдыхаю, выдыхаю, медленно повторяю то и другое, мобилизуя бока, грудь и нос так старательно, словно впервые изобретаю дыхание.

– В легких боли не чувствуете?

Мотаю головой.

– А в подвздошье?

Реагирую так же.

На обоих лицах написано облегчение. По-моему, я им угодил. Теперь я уже довольно ясно различаю черты моих спасателей: у паренька круглое полудетское лицо балованного ребенка; девушка, бледненькая, хрупкая, внимательно разглядывает меня нежно-голубыми глазами фарфоровой куклы. Как же мне хочется, чтобы они задали новые вопросы, лишь бы доставить им удовольствие!

– Вы можете говорить?

Хочу сказать «да», но слово застряло где-то в глотке. Как странно! Мне все же удается выдавить:

- Мгм...

Этот невнятный звук – максимум, что мне удастся произнести. Собственно, меня это не тревожит. Зато по лицам ребят видно, что им этого мало.

- Не обижайтесь, месье, но скажите: в обычное время вы способны говорить?

Я улыбаюсь.

- То есть вы подтверждаете, что в нормальной жизни вы не немой?

Улыбаюсь еще шире.

- Значит, это просто шок.

- Или боль...

- ...которая мешает вам говорить?

Я размышляю, потом поворачиваюсь к пареньку, который сказал о шоке.

- А вы можете встать на ноги?

У меня нет никакого желания становиться на ноги. Но я догадываюсь, что для обоих молодых, сияющих добротой лиц это крайне важно. И поэтому препоручаю свое тело сознанию и пробую распрямиться.

Чужие руки помогают мне сесть.

- Bravo!

- Замечательно!

- Продолжайте!

– Давайте-ка теперь встанем!

– Не паникуйте, не бойтесь ничего, мы вас поддержим.

Господи, как давно со мной не обращались так заботливо!

И я решаю встать, мобилизовав всю свою волю, как некогда, в шестилетнем возрасте, перед первым прыжком в воду.

– Держитесь!

Ноги мои подгибаются, колени дрожат, руки бессильно обвисли, но ангелы-хранители подпирают меня сзади... и вот я уже стою.

То, что я вижу перед собой, повергает меня в ужас: осколки стекла, деревянные щепки, мусор, тела на земле – одни стонущие, другие уже накрытые с головой, догорающий гроб, вокруг которого суетятся пожарные, искореженный катафалк, разбитые витрины, облако пыли; всюду бегают с носилками санитары, отъезжают, одна за другой, машины «скорой помощи», полицейские огораживают место происшествия, криминалисты фотографируют, а поодаль, за натянутыми лентами, скапливается плотная толпа зевак. Ноздри щиплет от едкой вони горелой резины. В воздухе порхают, упорно не желая оседать, серые хлопья пепла. Меня оглушают шумы – стоны раненых, окрики полицейских, плач детей, улюлюканье автомобильных сирен. В следующую секунду я понимаю, что произошло. Площадь Карла Второго никогда так не выглядела – бомба разворотила все.

Мои спасатели чувствуют, как я потрясен.

– У вас были при себе какие-нибудь вещи?

– Ваши вещи при вас?

Я мотаю головой.

Не могу отвести взгляд от гроба. Пытаюсь представить себе, что стало с человеком, виновником этого катаклизма, но беготня полицейских, кучи

обломков, дым, трупы под простынями и всеобщая суматоха мешают мне что-либо разглядеть.

И внезапно я замечаю на мостовой руку, оторванную по плечо.

Это его рука. Из солидарности ощущаю боль в своем ушибленном плече.

– Ай!

– Вам больно, месье?

Никогда еще не видел руку отдельно от тела. Отворачиваюсь.

– Почему вы вскрикнули?

Я и рад бы ответить, но тут слезы заволакивают мне глаза, текут по щекам.

– Сейчас мы отправим вас в больницу.

Ох, лучше бы эти ребяташки дали мне время поразмыслить, прочувствовать случившееся! Но нет, они намерены действовать – действовать, и только, вон какие они целеустремленные, энергичные. Над ангелами довлеет одно тяжкое недоразумение: нам кажется, будто они охраняют нас, дабы избавлять от страхов и уныния, тогда как на самом деле это нам приходится их утешать.

Поддерживая с двух сторон, они ведут меня к «неотложке» лимонно-желтого цвета. При нашем появлении поднимается суэта. Меня укладывают на носилки и задвигают в кузов.

Пока еще не сомкнулись дверцы, я успеваю заметить слева, метрах в десяти от машины, рядом с ратушей, Пегара и журналистов нашей редакции, все они, несмотря на энергичные протесты, вынуждены стоять за барьером, дальше их не пропускают полицейские.

Увидев меня, Пегар застывает – то ли не узнаёт, то ли не хочет узнавать. Но это длится всего секунду, потом его лицо радостно вспыхивает, и вот он уже ликует. Я вдруг стал для него козырем. И он с наигранной любезностью машет мне,

пытаюсь выразить мимикой одновременно «Ты в порядке?» и «Скоро увидимся!». Вижу, как он довольно потирает руки. Еще бы, вот счастье-то привалило: репортер газеты «Завтра» оказался на месте теракта и скоро поведает о случившемся в эксклюзивном интервью! Не сомневаюсь, что Пегар мысленно уже подыскивает броский заголовок для статьи.

Дверцы захлопываются.

«Неотложка» врубает свою воющую сирену, трогается с места и медленно, бережно везет меня по площади Карла Второго, огибая вырванные с корнем фонарные столбы. Я гляжу в оконце на весь этот хаос. Потрясение, испытанное при виде оторванной руки, как бы притупило мои чувства, позволяя более или менее спокойно смотреть на мостовую в потеках сажи и лужах крови, на экспертов, присевших на корточки в поисках улики, на врачей, которые осматривают раненых.

Когда машина сворачивает на улицу Вобана и эта мрачная картина остается позади, я уже твердо уверен, что среди жертв и обломков не было крошечного создания в джеллабе, порхавшего над плечом террориста.

В приемном покое меня переложили с носилок на каталку и задвинули в нишу посередине коридора с изумрудно-зелеными стенами. Как обычно, подальше, с глаз долой.

И я, как обычно, смиряюсь. Ловя обрывки разговоров испуганных, бегущих взад-вперед медсестер, я узнаю, что медицинские бригады первым делом занимаются РТО – ранеными, травмированными и обгоревшими, так называемой группой риска, к которой я не отношусь. В больницу непрерывно доставляют тяжелораненых. Ударная волна от взрыва умножила количество жертв. И хотя человеческое тело, мягкое и податливое, сопротивляется ударным волнам лучше, чем твердые предметы, многие люди пострадали от разлетевшихся осколков стекла, гвоздей, камней, болтов, кусков кровельного железа и досок, которые изрешетили их плоть. Вокруг говорят о выбитых глазах, раздробленных костях, ампутации ног. «Жгут сюда, быстро!», «Этого в операционную!», «Звоните в Нотр-Дам или в Святую Терезу, узнайте, остались ли у них свободные места!», «Это ампутируем!», «Жгут!»... Напряжение возрастает, мобилизованы все врачи, даже те, у кого выходной или отпуск. К чисто медицинским

проблемам добавляются чисто человеческие: пострадавшие вопят, возмущаются, требуют внимания. Если теракт на площади Карла Второго тела изуродовал по-разному, то психику поразило одинаково сильно. У некоторых пациентов ужас преобладает над болью, внушая воображаемые страдания.

Непрерывно верещат полицейские рации, пополняя список погибших. Медперсонал жалуется на нехватку оборудования, лекарств и операционных; государственные больницы вынуждены просить о помощи частные клиники. Иногда раздается душераздирающий женский крик, и мы понимаем: еще одна мать в приемном покое узнала о смерти своего ребенка.

И я присутствую при всем этом, молча, содрогаясь от ужаса.

Меня задевают носилки с очередной жертвой. Лежащий на них мужчина, голый, окровавленный, с обожженной разодранной кожей, сотрясается от спазмов и вращает безумными, испуганными глазами. Я чувствую его немой крик. «Нет, только не я! – написано на его лице. – Только не я! Только не здесь! Только не сейчас!» Жизнь и смерть ведут в нем жестокую схватку. Расторопные санитары бегом увозят его куда-то.

Нет, это уж слишком. Я отворачиваюсь к стене, спиной ко всей этой кутерьме, равно напуганный тем, что увидел воочию, и тем, что вижу в воображении.

Скорчившись на своей каталке, я больше не шевелюсь. Но кто-то время от времени треплет меня по плечу, напоминая, что обо мне не забыли. Мне приятны эти знаки внимания, забота людей, преданных своему делу, посвятивших себя спасению ближнего; я постепенно успокаиваюсь. Подобно тому как тень горы заволакивает соседние поля, меня обволакивает сонное забытие.

И я безвольно погружаюсь в него.

В конце дня меня будит интерн-ливанец с угольно-черными бровями:

– Ваша очередь!

Он привозит меня в бокс и опрашивает. Я сообщаю ему свое имя, возраст, адрес газеты «Завтра», после чего подвергаюсь медосмотру, быстрому, но тщательному.

После каждой процедуры он ставит крестик в очередной клеточке истории болезни. Видно, что парень замучен вконец, но ничего не пропускает.

– Я голоден, – говорю я ему.

– Мириам, принесите больному обед!

Боже, как просто! Почему я не попросил еду раньше? Мириам, медсестра с жизнерадостным личиком, отдергивает занавеску бокса и спрашивает, ем ли я мясо. Я киваю. Любое мясо? Любое.

– Мы поместим вас в палату на четвертом этаже, – объявляет чернобровый интерн.

Не знаю, радоваться мне или огорчаться.

– Но... зачем?

– Простая предосторожность. Нам нужно за вами понаблюдать. Первичный осмотр показал, что у вас нет серьезных травм, только давление низкое и общая слабость как результат шока. Но мы предпочитаем убедиться, что у вас нет внутренних повреждений.

– Например?

– Например, повреждений пищеварительных органов, которые трудно диагностировать сразу.

Мне хочется выкрикнуть, что мои пищеварительные органы больше всего страдают от долгого голодания, но я вовремя прикусываю язык. Никто не должен заподозрить, почему я так рад, что меня здесь оставляют.

- Может, перед тем как отправиться в палату, вы хотите побеседовать с психологом – специалистом по кризисным ситуациям?

- Лучше после еды.

- О, конечно, извините меня.

Мириам и ливанец помогают мне перебраться в инвалидное кресло, и сестра везет меня в палату № 413.

После приемного покоя все другие больничные отделения кажутся безмятежно-спокойными. Ничто не нарушает тишину в широких коридорах, разве что шлепанье тапочек санитарки по мягкому линолеуму да поскрипывание колесиков моего кресла. Мы движемся посуху, словно плывем по воде.

Четвертый этаж. Стены украшены фотографиями альпийских пейзажей и освещены слабенькими лампочками.

- Ну, вот ваша палата.

Медсестра распахивает дверь, и... я оказываюсь лицом к лицу с Филибером Пегаром. Он поджидает меня, сидя на стуле у койки, с букетом в руке и льстивой улыбочкой на физиономии. Мириам бдительно оглядывает его:

- Вы родственник?

- Я его друг и работодатель, - заявляет Пегар своим обычным высокомерным тоном.

Но, едва договорив, он принимает смиренный вид, выражающий искреннее сочувствие.

- Кроме родных и полиции, никто не имеет права беседовать с жертвами, - строго говорит сестра.

- Но у Огюстена нет родных.

Мириам смотрит на меня, ожидая подтверждения этой информации. Я опускаю глаза.

– Было бы грустно, – продолжает Пегар, – оставить его в одиночестве после такого потрясения. Что же касается комиссара Терлетти, то он меня хорошо знает и прислал сюда, чтобы я занялся Огюстеном. Позвольте представиться: Филибер Пегар, главный редактор газеты «Завтра».

Сестра, которая читает местную газету, а главное, занята по горло, решает не спорить и, пожав плечами, устраивает меня на кровати. Пегар суетится рядом, то и дело пытаюсь ей помочь или, вернее, показать, что он готов оказать помощь, но она всякий раз отстраняет его.

– А какой у нас диагноз? – сюсюкает он.

– Спросите у врача. В настоящий момент больной нуждается в отдыхе и наблюдении. Не утомляйте его. Сейчас я принесу ему обед.

И она выходит.

Пегар спрашивает, состроив умильную физиономию:

– Ну как ты?

Я колеблюсь... Может, притвориться, что я онемел?

– У тебя шок?

Чувствую, что лучше согласиться. Киваю и спешу добавить:

– Я хочу есть.

– Сейчас она принесет обед. Ты был далеко от места взрыва?

Я с удивлением констатирую, что уже несколько часов не думаю о случившемся, словно запер воспоминания о теракте в дальнем углу памяти, куда преградил

себе доступ.

– Я стоял на краю площади.

– Значит, довольно далеко. Уф... ну что ж, тем лучше для тебя... Но ты его видел?

– Кого – его?

– Взрыв, конечно!

– Я его видел, я его слышал, и я упал... а потом потерял сознание.

Говоря это, я спрашиваю себя: что стало с жареной картошкой, хрустящей жареной картошкой, которую я только-только начал заглатывать?

Восхищенный Филибер Пегар размахивает передо мной своим букетом, давая понять, что цветы предназначены мне, потом исчезает в ванной, гремит там какими-то предметами, бурчит, чертыхается, включает воду и наконец выходит с уткой, приспособленной под цветочную вазу.

– Не благодари меня, лучше давай рассказывай.

И грузно бухается в кресло: он уже не жалеет, что пришел, да еще потратился на букет.

– Я встретил этого террориста на бульваре Одан. Он так нервничал, что толкнул меня, переходя улицу. И я успел его рассмотреть, когда он был на другой стороне.

– Как он себя вел?

– Я же говорю: нервно. И очень странно.

– В чем странно?

- Непрерывно, чуть ли не каждую секунду, поглядывал на часы. Хотя одного раза было бы вполне достаточно.

Пегар вытаскивает блокнот из кармана плаща и записывает все, что я ему докладываю.

- Ну а потом?

- По его лицу и ногам было понятно, что он очень худой, однако на нем была огромная, просто несоразмерная парка.

- Ну, это понятно, под ней он скрывал пояс со взрывчаткой. Какого он был возраста?

- Лет двадцати.

- Бородатый?

- Да.

- Брюнет?

- Да.

- Вроде как из Магриба?[5 - Магриб - общее название для стран Северной Африки.]

- Да.

Пегар сидит с довольной миной кошки, только что слопавшей мышь.

- Он был один?

Я молча смотрю на него. Вот он - ключевой момент. Может, рассказать ему все как было? Попробовать, что ли?

У Пегара хищно блестят глаза. Подавшись вперед, он еще раз ласково спрашивает:

- Ну так как же? Он был один?

- Нет.

Филибер Пегар сияет: вот она, сенсация! Он получил сведения, которыми не располагают даже полицейские! И, зыркнув на дверь палаты – уж не подслушивают ли нас? – вкрадчиво спрашивает:

- Так кто же его сопровождал?

Я снова молчу... Поверит ли он мне? И осторожно говорю:

- Человек в джеллабе, гораздо старше его.

- Какого роста – большого, маленького?

Подумав, я медленно отвечаю:

- Скорее маленького.

- Толстый, худой?

- Ни то ни другое.

- Прекрасно! Продолжай! Что они делали?

Я съеживаюсь на своей койке. Дурацкий какой-то разговор получается: я вроде бы и правду говорю и при этом скрываю то, что видел. Куда это меня заведет?

- Огюстен, так что же они делали вдвоем?

- О чем-то говорили, но я, конечно, ничего не слышал. Похоже, они спорили. Пожилой как будто старался в чем-то убедить молодого. На самом деле мне

показалось, что молодой отказывался.

- Ага, значит, старик его агитировал.

- Ну... да, вроде того...

- Теперь все ясно, это был вербовщик, промыватель мозгов, руководитель операции. Сколько же времени они препирались?

- Две-три минуты. Потом старик его вроде убедил, и парень направился к площади Карла Второго.

- Один?

- Нет, старик его... сопровождал.

- Ах, вон как? Интересно!

Мне очень хотелось признаться Пегару, что в этой истории было много чего гораздо более интересного, например крошечная фигурка старика и тот факт, что он летал. Но если ему сказать такое, он больше не поверит ни единому моему слову.

- Значит, они оба направились к площади?

- Да. И подошли к церкви Святого Христофора. Там как раз кончилась служба, и люди выходили на улицу. А гроб ставили в машину.

- И что потом?

Я стискиваю руки, упорно глядя вниз, на простыню. Нет сил говорить о дальнейшем. Но Пегар меня подбадривает:

- Ну, говори, Огюстен! Ты же знаешь - твое свидетельство бесценно. Я понимаю, тебе тяжело и больно вспоминать весь этот ужас, но ты просто обязан помочь нам - журналистам, полицейским, политикам, гражданам нашего города, всей

стране, всему миру. Может быть, только ты один и знаешь доподлинно, как оно все было на самом деле.

- Ну... значит...

Нет, я не стану описывать ему эпизод с жареной картошкой. Стоит признаться, что я голодаю, и он сможет докопаться до всего остального.

- Огюстен, дорогой мой, давай, соберись-ка с мыслями!

Ох, какой он прекрасный актер, наш Пегар! В эту минуту я почти готов поверить в его сочувствие.

- Справа от меня произошел один инцидент, который отвлек мое внимание... Кто-то поскользнулся на собачьих какашках и выругался...

- Нет!

- Да.

- Нет!

Как это Пегар учуял, что я вру?! Неужели он настолько проницателен? Или я просто такой неумелый враль?

Он встает и начинает расхаживать вокруг моей койки, прерывисто дыша и теребя свою сигару.

- Только не говори мне, что ты упустил главное из-за какого-то собачьего дерьма и проморгал сам теракт!

- Да нет, я его видел.

- Ага!

Он тотчас садится, хватается свой блокнот, кладет его на колени и, нагнувшись ко мне, вкрадчиво просит:

– Расскажи мне все, Огюстен, миленький!

– Через несколько секунд молодой подошел к толпе, окружавшей катафалк, распахнул куртку, выкрикнул какую-то неразборчивую фразу и...

– Аллах акбар?

– Что?

– Он выкрикнул: «Аллах акбар!» Это я уже знаю. Переводится как «Бог велик!».

– Ну, может быть... Потом он вытянул руки, сделал какое-то резкое движение, и прозвучал взрыв.

– А старик?

– Какой старик?

– Ну, тот, что его сопровождал.

– Я его больше не видел.

– А не стоял ли он возле гроба?

– Нет.

– Значит, смылся в последний момент?

– Понятия не имею.

– Но, может, потом-то ты его разглядел среди жертв? Он ведь был в джеллабе – неужели не осталось хоть какого-нибудь лоскутка?

Этот вопрос приводит меня в изумление. Как он догадался, что это существо настолько заинтересовало меня, что я высматривал его даже из «скорой», покидая площадь?!

– Месье Пегар, я ведь говорил вам, что потерял сознание. И когда меня привели в чувство, мне было не до того, чтобы выискивать какие-то...

– А я убежден, что ты это сделал!

Я снова умолкаю, разинув рот от удивления. Пегар кивает, нахмутив брови:

– Я абсолютно в этом уверен! И знаешь почему? Потому что ты прирожденный журналист! Да-да, совсем как я! Ты умный человек, который прячет свои эмоции подальше и ведет себя в первую очередь как настоящий профи. Или я ошибаюсь?

Понурившись, я бормочу что-то похожее на согласие.

– Ну так как же? – торопливо спрашивает он.

– Его там не было.

– Гениально! Вербовщик сопровождает террориста до места акции и скрывается, убедившись, что взрыв будет осуществлен. Великолепно! Вот он – новый метод, о котором еще никто не сказал ни слова! (Может, о котором никто еще не пронюхал?)

Он притопывает и хлопает в ладоши, вне себя от счастья. Раненые и погибшие в этой чудовищной атаке его совершенно не заботят... Сейчас он похож на могильщика, который радуется эпидемии.

– Как, вы еще здесь?! – ахает Мириам, входя в палату.

Пегар тут же пристыженно сникает, словно мальчишка, которого застучали в тот момент, когда он сунул палец в банку варенья.

– Я просто хотел подбодрить моего бедного друга.

Мириам ставит поднос мне на колени.

– Вот что его сейчас подбодрит!

И она смотрит на меня с сияющей улыбкой. Я отвечаю ей тем же.

– Я принесла тебе целых два десерта, – шепчет она.

Затем поворачивается и властно приказывает Пегару:

– А вы давайте-ка на выход! Я не хочу, чтобы вы утомляли больного.

Филибер прячет свой блокнот, изображая полную покорность:

– Мадам, вы совершенно правы! Здесь командует медицина. Я исчезаю. До завтра, Огюстен!

– Вот именно, до завтра, – говорит сестра, выталкивая его из палаты.

Она тоже выходит, затворив дверь. Я слышу эхо их удаляющихся шагов.

Вздыхаю с облегчением.

Передо мной сияет сокровище из сокровищ – поднос, на котором, кроме куска хлеба, красуются картофельный салат с корнишонами, филе индейки с рисом, натуральный йогурт и грушевый компот. Желудок мой урчит от нетерпения: наконец-то я смогу насладиться роскошной едой!

У меня вырывается взрыв хохота. Конечно, стыдно смеяться, когда погибло столько людей, а другие их оплакивают, но что тут поделаешь: раз уж мне повезло и я не подох, почему бы не поесть?

Ах, как неделикатно ведет себя мой инстинкт... Оглушенный взрывом, одуревший, я все-таки существую, я жив, в моих венах течет кровь; шок не погубил меня, не лишил аппетита. Конечно, из соображений морали, из простого человеческого сочувствия мне следовало бы сейчас рыдать и стенать, а я

мечтаю только об одном – поскорей нажраться досыта. Взрывная волна поразила разве что мой рассудок, но не тело. Упрямая жизненная сила берет верх над угрызениями совести и прочими деликатными чувствами. Не знаю, да и знать не хочу, осудят меня за этот плотский эгоизм или похвалят, – я ему повинуюсь. Он свидетельствует о высшей мудрости, куда более могущественной, чем мое жалкое мудрствование.

И я набрасываюсь на еду. Моя рука первым делом хватает кусок хлеба и запихивает его в рот.

Подняв голову, я вижу на стуле, возле кровати, девочку. Ту самую девочку, которую мельком видел в кабинете Пегара; сейчас она сидит тихая, серьезная, поникшая.

– Ой... что ты здесь делаешь?

Девочка устремляет на меня взгляд больших светлых глаз.

– Он меня забыл.

– Кто? Месье Пегар?

Она утвердительно кивает и переводит взгляд на потолок. Я пытаюсь разузнать побольше:

– Он с тобой добр, месье Пегар?

Она убежденно отвечает своим тоненьким, мягким голоском:

– Ну конечно!

Потом дергает плечиком (тик у нее, что ли?), слегка кривит губы и мигает левым глазом (снова тик?). Однако тут же – видимо, стремясь исправить положение, – вытягивает ноги, любуется своими лакированными туфельками и разглаживает клетчатую юбочку.

– Но он часто меня забывает...

Огорченно покосившись на свой поднос, я ей говорю:

- Ты лучше догони его, а то он будет волноваться.

Потом откусываю от мягкого ломтя хлеба и снова поднимаю голову, чтобы взглянуть на девочку.

На стуле – никого.

З

Похоже, я стал важной персоной.

С самого утра меня осаждают посетители. У моей больничной койки поочередно продефилировали: санитарка, принеся завтрак; главврач с целой свитой интернов; медсестры, жаждущие взять у меня на анализы кровь и все прочее, и, наконец, парочка полицейских инспекторов, которым я дал свидетельские показания: они багровели по мере того, как я углублялся в подробности, и горячо поблагодарили меня, заверив, что их рапорт будет незамедлительно представлен начальству.

Наконец дверь закрылась, и я блаженно улыбнулся потолку. Меня растрогал тот факт, что все они почитали эту палату моими личными апартаментами: входили на цыпочках, извинялись за беспокойство, отказывались сесть в моем присутствии и, прощаясь, сердечно желали скорого выздоровления.

Мне хочется осмотреть свои владения.

Презрев запрет врача, я слезаю с кровати. И, ступив на пол, вздрагиваю: тонкая сорочка, в которую меня облекли, скреплена сзади одними тесемками, оставляя голыми спину и ягодицы.

Направляюсь в ванную комнату и медленно обследую ее. Обычно я пользуюсь удобствами в общественных туалетах сомнительного вида, где есть риск

запачкаться и до и после совершения процедур, а здесь сталкиваюсь с потрясающей роскошью: просторное, сверкающее чистотой помещение, оборудованное всем, что душа пожелает, и это предназначено мне одному, а я до сих пор ничем не попользовался. Что же касается зеркала над раковиной, то лучше в него не смотреться – слишком много чести для такой физиономии, как моя.

Вернувшись в палату, подхожу к окну с двойным стеклом. Внизу женщина в куртке катит мусорные баки по мощеному двору. Чуть дальше, на улице, прохожие торопливо шагают под холодным, густым дождем, а грузовики, разбрызгивая лужи, вырывают на круговую автостраду, опутавшую своими петлями пригороды. Глядя на все это, я снова радуюсь своей удаче: там, снаружи, люди борются с враждебным окружением, тогда как я, в рубашонке до пупа, лентяйничаю здесь, в своем тихом, спокойном, натопленном личном салоне.

Я сладко зеваю.

Несмотря на счастье наесться досыта, я провел скверную ночь: меня мучили картины вчерашнего теракта. Я никак не мог решить, что лучше – бодрствовать или спать; в первом случае все напоминало мне о взрыве, об истерзанных телах и лицах, искаженных страхом; во втором – разыгравшаяся фантазия подпитывала этот ужас, добавляя к подлинным впечатлениям совсем уж фантастические эпизоды. Так, например, мне чудилось, будто меня сочли мертвым и швырнули в телегу с трупами, а сверху бросают и бросают другие тела, соль, песок, пепел, землю, и я задыхаюсь, кричу, но никто не обращает на меня внимания. Всякий раз, вырываясь из этого кошмара, в поту и ознобе, я заставлял себя лежать с широко открытыми глазами, чтобы отогнать этот жуткий сон, и радовался, что с ним покончено, но не тут-то было: миг спустя на меня снова наваливали кучу мертвецов.

В шесть утра я услышал башенные часы, мелодично отбивающие время, утешился тем, что ночь, с ее чередой зловещих видений, миновала, облегченно вздохнул и открыл глаза.

Передо мной стоял старик в пижаме. Слабый оранжевый свет уличных фонарей, сочившийся в палату с бульвара, делал в полутьме особенно контрастной правую половину его лысой головы и лица с глубокими морщинами, крупным носом и запавшими глазницами. Он пристально вглядывался в меня, так жадно и

так испуганно, будто опасался с моей стороны бог знает какой выходки.

– Что вам угодно?

Он даже глазом не моргнул. Тщедушный, иссохший, он тем не менее был страшен. Несмотря на глубокую старость, в нем чудилось что-то детское – наверно, из-за того, что длинные рукава его пижамы свисали, закрывая кисти рук, а полотняная рубаша плохо держалась на узких плечах.

– Выйдите из моей палаты!

Никакой реакции. Вытянув шею, старик продолжал свой безмолвный осмотр. На его лице застыло вопросительное выражение. Присутствие странного гостя, его неподвижность леденили мне кровь. А вдруг это какой-нибудь сумасшедший пациент, который бродит ночами по больнице?

Или, может, я сплю?

И я попытался убедить себя, что старик с пустым взглядом просто привиделся мне во сне.

Но как же избавиться от сонного кошмара? А вот как – перейти к другому сну! Я зажмурился и решил несколько мгновений не открывать глаза.

Раз, два, три... Я считал секунды... пятьдесят девять, шестьдесят... вначале я старался дышать как можно тише... сто пятьдесят, сто пятьдесят одна... теперь я слышал только собственное дыхание, а не его... двести тридцать... А вдруг он сейчас подойдет и станет меня душить?!

На двести сороковой секунде я открыл глаза: старик исчез. Реальный – нереальный, какая разница; главное, я от него избавился!

И тут послышался какой-то монотонный шум, он был мне знаком, но я не сразу определил, что это; вскоре окна покрылись прозрачным бисером, и тогда я понял: идет дождь, поливающий крыши и стены. Я примостил поудобнее голову на жиденькой подушке и забылся сном.

Все утро, несмотря на посетителей, я пребываю в каком-то дурмане. Откуда он взялся, тот неизвестный старик? Приникнув лбом к оконному стеклу, я гляжу на улицу. Из водосточной трубы на правом углу здания хлещут мутные потоки. Неба вообще не видать, просто бесцветная хлябь, извергающая ледяную воду.

В коридоре раздаются громкие четкие шаги. Кто-то стучит в дверь.

Я поспешно прыгаю в кровать, натягиваю на себя простыню и произношу стонущим голосом:

- Кто там?

Входит женщина в туго перепоясанном плаще.

- Мерзкая погода... Ну и климат - людям сущее мучение, а лягушкам полный кайф!

На женщине клеенчатая шляпа-колокол, под которой ее лицо выглядит длиннее и у?же, чем на самом деле. Бросив свой ранец на стул, она срывает ее и трясет головой, чтобы расправить слежавшиеся темные волосы. Теперь я вижу вполне банальное лицо с круглыми (слишком круглыми) карими глазами и острым носом.

- Здравствуйте! Меня зовут Клодина Пуатрено, я следователь. А это мой помощник Матье Мешен.

Позади нее стоит здоровенный малый, неуклюжий и сутуловатый; он приветствует меня так робко, словно извиняется.

- Ну, вот и познакомились, - заключает посетительница.

Ее голос соответствует внешности - такой же командирский. Она еще и не взглянула на меня как следует - борется со своим складным зонтиком, с которого течет на ее мокасины. Ассистент освобождает ее от этой заботы.

- Я поставлю его в ванной подсушить, - шепчет он.

Женщина небрежно благодарит и морщит лоб, уже переключаясь на рабочий лад. Я чувствую, что ее приход превратится в настоящее вторжение.

Подняв голову и сощурившись, она пристально смотрит на меня:

- Ну, как месье себя чувствует - хорошо? Он провел ночь спокойно?

Не дожидаясь моего ответа, она подходит и сверлит меня строгим взглядом.

- Месье еще не читал сегодняшнюю прессу?

- Нет.

Моя гостья вытаскивает из портфеля штук двадцать разных газет и бросает их мне на колени.

- Это черт знает что такое!

И она оборачивается к своему помощнику, который вынимает из сумки ноутбук.

- Позор! Просто позор! Других слов я не нахожу...

Она умолкает, видимо стараясь подыскать «другие слова», но сдается и разочарованно вздыхает:

- Из-за вас, месье, мы выглядим полными идиотами. А уж я - так настоящая королева придурков, хотя прекрасно обошлась бы без этого титула, можете мне поверить. Верно, Мешен?

Ее покорный спутник, явно не желающий подписываться под этим заявлением, делает вид, будто изучает температурный лист в изножье моей кровати.

А за окном по-прежнему свинцовая завеса дождя.

Женщина снова обращается ко мне; подняв брови, она указывает на газеты:

– Значит, пресса осведомлена лучше полиции? Вот уж поистине, мир перевернулся с ног на голову!

Я просматриваю газетные заголовки. Все они посвящены ужасу теракта и сообщают о количестве жертв, но рассказывают также и о террористе. Следователь Пуатрено тычет наманикюренным пальцем в один из заголовков: «Фанатик мертв. Его сообщник все еще на свободе». Затем предъявляет мне другой: «Подстрекатель, толкнувший смертника на эту акцию, сопровождал его до последней минуты». И третий: «Второй участник пока в бегах».

– Второй участник! А мы знать не знали, что их было двое! Со вчерашнего дня мы разрабатываем версию одинокого волка, не подозревая, что за этим взрывом стоит целая организация, хотя не исключали и такой вариант. И вот теперь выглядим полными недоумками, верно, Мешен?

Прикусив губу, она откидывается на спинку стула:

– Вас, Огюстен Тролье, я не обвиняю даже сейчас, когда зла на весь мир, но я просто убить готова инспекторов полиции, которые так поздно предъявили ваши свидетельские показания. Уж вы-то, по крайней мере, повели себя как профи – вызвали сюда своего босса.

И госпожа следователь сует мне в руки газету «Завтра». Как я и предвидел, на первой полосе – Филибер Пегар с объявлением о том, что он единственный, кто владеет важнейшей информацией. Она присаживается ко мне на кровать.

– Прекрасная реклама для вашей газетенки: ее цитируют все мировые массмедиа. А вот завтра они напишут о том, что Клодина Пуатрено, следователь с дебильными мозгами, узнаёт из газет то, что ей по должности положено знать раньше всех!

– Мадам, я никого не вызывал к себе. Когда медсестра привезла меня в эту палату, мой шеф уже был здесь. Ну и естественно, он начал меня расспрашивать...

– Вот сволочь! Впрочем, что тут удивительного! Надеюсь, вы не вообразили, что он оторвал задницу от стула и притащился к вам в больницу из человеколюбия?

- Месье Пегар никогда ничего не делает бескорыстно.

«Например, берет стажера, не платя ему ни гроша», - хочется мне добавить, но я удерживаюсь: не стоит бросать тень на мою свеженькую репутацию героя.

Теперь она уже смотрит на меня спокойнее:

- Сколько тебе лет?

- Двадцать пять.

- Можно, я буду с тобой на «ты»?

Она сбивает меня с толку, и я даже не решаюсь ей перечить; мое молчание расценивается как согласие.

- Что ты там делал, Огюстен?

- Месье Пегар послал меня на улицу собирать свежие новости.

- Как это - послал на улицу?

- Да, «на улицу», это его любимое выражение. Ходить в толпе, слушать, что говорят люди, что их волнует, - словом, раскидывать сети, авось и попадется что-нибудь интересное.

- Хм... «на улицу»... Скажи спасибо, что не «на панель» - так обычно выражаются сутенеры. Ай да Пегар, ну и мерзавец! Значит, ты вышел на улицу, держа нос по ветру, тебя толкнули, ты увидел старика и молодого парня и пошел за ними... Именно так написано в газетах. Все верно?

- Да.

- Мешен, нам придется построить следствие на новых данных.

Она произносит это жалобным тоном домохозяйки, вынужденной вновь начать распущенное вязанье.

- Ох, сейчас покурить бы...

Она делает паузу.

- Нет, нельзя: я ведь бросила.

И стонет:

- Господи, как же хочется подымить! Ты сам-то куришь?

- Нет.

- Bravo! И не начинай никогда!

- Да уж, что касается дыма, то я его вдоволь наглotalся при взрыве.

Ее плечи трясутся от сухого смешка. Она берет в свидетели ассистента:

- Ну и шутник же этот парень!

После чего наклоняется ко мне:

- Ты знал этого Хосина Бадави?

- Хосина Бадави?

- Ну, этого типа с бомбой. Ты никогда с ним не встречался?

- Нет.

- Точно никогда?

- Да нет же.

- А ведь Шарлеруа не такой уж большой город. Тут все друг друга знают как облупленных.

- Но я и с вами никогда не встречался.

Несколько секунд она смотрит на меня, потом объявляет:

- А ты совсем не глуп!

- Откуда вы знаете его имя?

- Он носил с собой документы, представь себе. Любопытно, не правда ли? Если бы я захотела все взорвать к чертовой матери, то ни за что не стала бы подписываться под своим преступлением, ну или, по крайней мере, не сразу, чтобы еще больше задурить головы полицейским, следователям, журналистам, жертвам и их семьям – словом, всему обществу. Ты согласен?

- Э-э-э... ну да...

- И в то же время ни ты, ни я не играем со взрывчаткой. Значит, между словом и делом есть какая-никакая разница... Впрочем, именно из-за таких рассуждений меня и считают безмозглой дурой, верно, Мешен?

Ассистент с нарочитым усердием строчит в блокноте.

Она встает и прохаживается по палате.

- Ты можешь описать того человека в джеллабе?

Я собираюсь с мыслями. Что делать – смолчать или признаться, что старик в джеллабе был размером с ворону и летал над плечом смертника?

- Полиция пришлет к тебе специалиста, чтобы составить словесный портрет.

Я до боли стискиваю пальцы.

- Ты что, сомневаешься? – восклицает она, садясь рядом.

- Д-да.

- Думаешь, тебе не удастся его описать?

- Ну... разве что частично...

- Не важно, ты все-таки попробуй!

Она встает и отряхивает юбку, словно могла ее запачкать в больничной палате.

- Ну ладно, мне скучать некогда, меня ждут три тысячи досье. Нельзя терять ни секунды. Мало того, коллеги так и норовят подставить мне подножку... И похоже, им представился очень удобный случай – испортить мне расследование такого громкого дела. Мешен, вы не помните, у меня был зонтик, когда я пришла?

- Он сохнет в ванной, госпожа следователь.

- Вот балда! Вечно я хожу с мокрыми зонтами!

Она натягивает плащ, с гримасой отвращения водружает на голову свою шляпу-колокол, видимо представив себе, как ужасно в ней выглядит, хватает свой портфель и брезгливо берется за зонтик, протянутый ассистентом. Подойдя к двери, она оборачивается:

- Я оставлю тебе газеты, ладно?

- Спасибо.

- Огюстен, кем ты хочешь быть?

- Писателем.

– Не журналистом?

– Нет, журналистикой я буду только зарабатывать на жизнь.

– Да ни черта ты ею не заработаешь! Я знаю, что говорю: был у меня когда-то бойфренд-журналист. Еле сводил концы с концами, вот и пришлось с ним покончить.

Боюсь даже сказать ей, насколько она права. Она качает головой:

– Будь писателем, Огюстен, только послушайся меня и подыщи себе еще одну работенку, чтоб хватало на квартплату. На твоём месте я бы устроилась продавцом в магазин, который ничего не продает. Или в картинную галерею. Вот идеальное место для размышлений! Всякий раз, входя в такую галерею, я боюсь помешать будущему Бальзаку или Прусту.

– И много вы знаете в Шарлеруа таких торговцев произведениями искусства, мадам?

– Верно, их тут раз-два и обчелся. Местные лягушки коллекционированием не занимаются. Я могла бы тебе порекомендовать кое-что равноценное: есть тут несколько магазинчиков – ни товаров, ни клиентов, попросту отмывают деньги; но если ты не член местной мафии, тебя туда и близко не подпустят. Ладно, мы об этом еще потолкуем...

Она выходит, но тут же возвращается.

– Так ты уверен, что не знаком с Хосином Бадави?

– Уверен.

– И все же ты от меня что-то утаил, я пока не знаю, что именно. Тем хуже, но позже я тебя расколю, не сомневайся! Мы еще только начали общаться...

За госпожой следователем и ее ассистентом захлопывается дверь. Цоканье их башмаков, подбитых железными подковками, еще долго слышится в коридоре;

но вот наконец опять наступает тишина.

Меня терзают сомнения: хорошо ли я поступил, направив следствие и полицию по ложному следу, не рассказав им всю правду о том, что видел? Но теперь уже поздно идти на попятную: горький опыт подсказывает, что меня сочтут лжецом или просто ненормальным. Слишком часто со мной такое бывало.

В детстве я рассказывал о существах, которых иногда видел летающими вокруг людей, но мои слушатели относились к этому с полным безразличием. Ну кто станет принимать на веру болтовню одинокого сироты-заморыша, которого судьба швыряет из приюта в приют, из социального центра в приемную семью и обратно? Но я упорно гнул свою линию, и в конце концов мои учительницы попросили меня рассказать об этом подробнее; из их вопросов мне скоро стало ясно, что они не видят того, что вижу я. Ни они, ни мои товарищи. Вообще никто. Однажды меня жутко возмутило, что окружающие не замечают окровавленное, постоянно залитое слезами лицо, которое я видел над Эммой, четырехлетней девочкой, но воспитательница мне объяснила, что это плод моего воображения, который я принимаю за реальность, и вообще пора прекратить эти разговоры и сходить на консультацию к нашему психологу Карине Майё... Увы, ни она, ни я сам так и не поняли, что со мной творится. Если бы я просто выдумывал эти образы, мы бы определили их суть или назначение. Но я сталкивался с ними, обнаруживал, видел своими глазами. Где уж там выдумать – я только и мог, что принимать их появление, как принимают все, приходящее извне, как принимают нечто реальное... Психотерапевт упивалась моими рассказами, записывала их в блокнот, читала разные исследования на эту тему. Я обожал эти встречи, когда мы вместе входили в ее кабинет, такой светлый, увешанный цветными картинками, заставленный ящиками с массой игрушек. Карина была прехорошенькая – нежная кожа, пунцовые сочные губки, в них так и хотелось впитаться, как в спелую вишню. Однажды утром она объявила, что верит мне и поэтому собирается изменить свою методику: теперь ей уже незачем анализировать мои рассказы, а пора заняться теми людьми, вокруг которых возникали эти фантомы.

– Понимаешь ли, Огюстен, призраки, вне всякого сомнения, связаны с ними, а не с тобой.

Наконец хоть кто-то принял меня всерьез... Теперь я смогу часами сидеть возле Карины, любуясь ее пушистым розовым пуловером и локонами с ароматом ириса.

Увы, я не успел насладиться этой новой ситуацией – на следующий день Карину сбил насмерть фургон сыровара.

Это стало моим первым тяжелым горем. Никого и никогда я так не оплакивал, как ее. И никогда никто не любил меня так, как она. Даже если я и проникался добрыми чувствами к каким-нибудь людям, никто из них ни разу не ответил мне тем же – никто, кроме Карины. В отчаянии я вообразил, что она погибла из-за того, что поверила мне... И почувствовал себя ответственным за ее смерть – хуже того, виновником. Теперь я знал: всем, кто будет слушать мои рассказы о призраках, суждено расстаться с жизнью. И с того дня приговорил себя к молчанию.

– Здравствуйте, меня зовут Соня.

В дверях появляется пухленькая розовощекая медсестра с подносом.

– Лежите-лежите, я сама все сделаю!

Она ставит поднос на столик-подставку и указывает мне на две прозрачные пластмассовые емкости среди тарелок с едой:

– Доктор предупредил вас насчет анализов? Ну так вот: эта для мочи, а эта для кала. Вы знаете, как это делается?

Я краснею.

– Это очень важно, Огюстен. Врачи хотят выяснить, нет ли у вас внутреннего кровоизлияния. Даже если вам это неприятно, вы уж постарайтесь меня порадовать. Я на вас рассчитываю!

А мне даже слушать ее неудобно.

– Вот и прекрасно. Я скоро забегу, и надеюсь, к тому времени вы меня порадуете.

Я боюсь встретиться с ней глазами и, пока она не покинула палату, упорно смотрю на свой обед: салат из тертой моркови, рыбное филе со шпинатом,

камамбер и яблоко. Пытаюсь настроить себя на радостный лад и забыть о медперсонале, который больше интересуется результатами работы моего кишечника после еды, нежели ее вкусом.

Проглотив весь обед без остатка, я чувствую, что меня клонит в сон. За последнее время сытные трапезы перепадали мне так редко, что любая из них приводит к полному изнеможению. Пищеварительный процесс отнимает всю мою энергию. И я засыпаю с чувством блаженного облегчения.

Но сиеста не удалась: внезапно я чувствую чье-то постороннее присутствие. Открываю глаза.

Опять этот старик!

Он стоит, вцепившись костлявыми руками в никелированную спинку кровати, на сей раз подобравшись ко мне гораздо ближе, чем прошедшей ночью. И снова тот же настойчивый, вопрошающий взгляд. Мне страшно.

Я приподнимаюсь, натянув простыню до самого подбородка.

– Что... Что вам надо?

Он не двигается и едва дышит, но его выцветшие глаза настойчиво вопрошают меня.

Мы безмолвно смотрим друг на друга.

Чем дольше я его рассматриваю, тем более реальным он мне кажется. Слишком уж много у него морщин, слишком много бородавок и прожилок, избороздивших лицо, – синих, красных, фиолетовых. Он походит не столько на реального старца, сколько на карикатурное изображение такового. От крыльев носа до самого подбородка пролегли глубокие складки. Тонкая, вялая кожа, где-то восково-желтая, где-то пепельно-серая, висит как тряпка. Из ушей торчат пучки волос, хотя на черепе осталось всего несколько жиденьких полуседых прядок. Вникая во все эти вполне конкретные подробности, я начинаю подозревать, что старик – живой.

Успокоенный этой мыслью, я решаю его игнорировать, укладываюсь на бок, прячу голову под простыню и пытаюсь заснуть.

Мне это, несомненно, удастся, потому что меня приводит в чувство только вторжение четверых полицейских.

– Мы пришли составить словесный портрет.

Я поднимаюсь. Уже шестнадцать часов.

Комиссар Терлетти, жгучий брюнет итальянского типа, с широкими бакенбардами и бритыми щеками, отливающими синевой из-за непобедимой средиземноморской щетины, объясняет мне необходимость этой процедуры. Сидя возле меня и бурно жестикулируя, он распространяет крепкий запах табака, каковой убеждает меня в его компетентности: такой человек должен выглядеть опытным профессионалом и настоящим мачо, упорным и молчаливым сыскарем, который не упустит ни след, ни добычу, который способен всю ночь просидеть в баре или в машине, смоля сигарету за сигаретой и подстерегая преступника. Этот едкий запах одурманивает меня так же, как хриплый голос комиссара, и я тотчас решаю, что не разочарую его.

Терлетти выходит, прихватив с собой двоих сотрудников и оставив в палате некоего Марка, парня моего возраста, с угловатым лицом в оспинах.

Марк придвигает стул к моей кровати и садится так, чтобы нам обоим был виден экран его ноутбука.

– Расскажи мне, что тебя поразило в этом человеке, в любом порядке. Опиши его взгляд, лоб, волосы... а потом я покажу тебе условный портрет. И не бойся ошибиться, иногда мы будем возвращаться к началу, нам спешить некуда.

Я старательно роюсь в памяти. Овал лица, форма носа, рисунок ноздрей, ширина подбородка, расположение волос на голове, толщина губ, линия бровей, взаимное соответствие всех этих черт... Я должен выбрать нужный вариант из двадцати пяти ртов, описать форму головы независимо от прически, выявить или, наоборот, опустить какие-то мелочи, что-то сдвинуть, увеличить или уменьшить, не зацкливаясь при этом на одном-единственном изображении, а непрерывно сопоставляя его со своими воспоминаниями...

Время от времени в палате возникает медсестра, с вопросом:

– Ну, чем порадуете?

Мне очень хочется ей ответить, что, в моем понимании, справлять малую или большую нужду не значит радовать ее, но я удерживаюсь и всякий раз обещаю, что скоро все будет готово, а пока возвращаюсь к тщательному воссозданию портрета.

Два часа спустя я в полном изнеможении объявляю Марку, что теперь лицо на экране более или менее похоже на увиденное мной, не уточняя, правда ли это, или я сам себя убедил в его идентичности оригиналу.

Инспектор покидает палату. А я пользуюсь этой паузой, чтобы забежать в ванную, где торопливо пытаюсь выполнить свой долг больного. Здесь, в больнице, мне уже ничто не принадлежит – ни распорядок дня, ни мое тело, ни память, ни экскременты. Странное дело, меня даже не слишком шокируют собственные потуги совершить желаемое, я всего лишь дивлюсь тому, какие они теплые – оба эти продукта работы моего организма.

И когда Соня опять наведывается ко мне, я торжественно вручаю ей наполненные контейнеры: наконец-то мне удалось ее порадовать.

Теперь я лежу, раздумывая, стоит ли засыпать снова: а вдруг опять появится жуткий старик.

Но тут входит комиссар Терлетти, а за ним Марк и двое других полицейских. Комиссар открывает ноутбук:

– Сейчас Марк покажет тебе фотки, и ты скажешь, узнаёшь ли кого-нибудь. Готов?

– Готов, – отвечаю я, тотчас заражаясь его энергией.

Он передает ноутбук Марку.

– Ну, давай! В самом конце ты увидишь фотоальбом семейства Бадави. И как только узнаешь кого-нибудь, дай знак; мы будем тут, рядом.

Засим Терлетти и двое его спутников покидают палату, оставив после себя запах остывшего табачного пепла.

Марк показывает мне, одно за другим, досье подозреваемых. Вначале я предельно сосредоточен, но вскоре устаю. Лица на снимках выражают либо спокойствие, либо агрессию; самые подозрительные из них – именно спокойные: в них угадывается глубоко скрытая потенциальная жестокость, куда более грозная, нежели нарочитая свирепость «крутых парней». Эту коллекцию дополняет третья категория – обдолбанные, с застывшими лицами и пустыми, бессмысленными глазами, ни дать ни взять рыбы в аквариуме: та же оцепенелость, те же расширенные зрачки и отвисшие губы.

– Никого не узнаешь? – настаивает Марк.

– Никого.

В семейном альбоме я вижу на всех фотографиях одну и ту же комнату со столом, креслом и диваном. Видимо, в семье Бадави аппаратом пользовались только в дни праздников или семейных торжеств. Обстановка не меняется, меняются только люди – молодые растут вверх, старики раздаются вширь. Из-за вспышки все зрачки выглядят красными и пустыми, как будто снималась компания наркоманов. Глядя на эти банальные позы, на эти улыбки – то застенчивые, то сияющие, но ни одной искренней, – я радуюсь тому, что лишен семьи. Не хватало мне еще умиляться такому...

– Вот он!

Я выкрикнул это во весь голос.

Человек, которого я видел на бульваре Одан, сидит в кресле, держа на коленях мальчонку. Следующее фото: тут он стоит сбоку, в стороне от дивана, с целой кучей женщин и детей. И вот, наконец, третий снимок – на сей раз настоящий фотопортрет, на нем он курит сигарету без фильтра, безразлично глядя куда-то в пространство.

- Я уверен, что это он!

Марк бросается в коридор. Через пять минут он приводит комиссара Терлетти и его коллег.

- Который из них?

Я указываю на три снимка.

Комиссар мрачнеет и потирает подбородок:

- Значит, он?

- Он!

- Ты ничего не путаешь?

- Ничего.

Комиссар чешет щеку, и она поскрипывает, словно он проводит пальцами по терке.

- Это его отец, Мустафа Бадави.

Трое полицейских застывают на месте.

- Отец террориста?

- Отец послал на смерть родного сына...

- Да еще сопровождал его и бросил в последний момент!

- Вот сволочь поганая!

Им уже не терпится действовать, они рвутся в бой:

- Надо срочно брать его, шеф!

- Я сейчас позвоню следователю.

- Да не стоит, поедem сами, зачем нам поднимать всю бригаду!

Но Терлетти сурово осаживает их:

- Спокойно, никто никуда не едет. Все остаются здесь.

- Почему, шеф?

- Парень ведь уверенно его опознал!

- Да, да, я абсолютно уверен! - пылко восклицаю я.

Комиссар Терлетти решительным взмахом пресекает наши вопли, потом, нахмурившись и яростно раздув ноздри, пристально смотрит на меня и говорит:

- Мустафа Бадави умер от рака десять лет тому назад.

4

- Значит, ты видишь мертвых, Огюстен?

Следователь Пуатрено склоняет голову к правому плечу, словно ей легче разобраться во мне под таким углом. Помолчав, она повторяет - сдержанным, доверительным, почти умиротворяющим тоном:

- Значит, ты видишь мертвых?

Она не насмехается надо мной, она именно задает вопрос, как это делала Карина во времена моего детства. И этот же вопрос она, видимо, задает самой

себе, потому что размышляет в ожидании моего ответа.

Я разглядываю ее овальное, гладкое лицо со стертыми чертами; глаза кажутся круглыми пуговицами, нашитыми на голову тряпичной куклы; она не вызывает у меня никакого враждебного чувства. Мягкого света ночника в изголовье моей кровати хватает только на наши лица, а метром дальше он растворяется в темноте. Время уже за полночь, и этот густой мрак вкупе с мертвой тишиной создает у меня впечатление, что только мы двое и бодрствуем в мирно спящей больнице.

- Ты видишь мертвых, Огюстен?

Вопрос трепещет, повисает в воздухе между нами. Сказать ей правду?

Несколькими часами раньше мой разговор с комиссаром Терлетти закончился полным фиаско. Одна-единственная фраза - и я превратился из свидетеля в лжеца.

- Где ты впервые встретился с Хосином Бадави и его отцом?

- На бульваре Одан.

- На бульваре Одан ты мог видеть только Хосина, потому что Мустафа Бадави давным-давно гниет в могиле! - презрительно бросил он мне.

Я и сам подозревал, что Мустафа Бадави ведет совсем не то существование, что Терлетти, его коллеги или я... И конечно, мне следовало признаться, что там, на бульваре, в Мустафе Бадави было всего тридцать сантиметров роста. Но я заранее предвидел, как среагирует комиссар на такое заявление: «Тридцать сантиметров роста! Значит, месье видит тридцатисантиметровых людей? Которые вдобавок передвигаются по воздуху? Эй, звоните главврачу, пусть переведет этого парня в психушку!»

И в общем-то, он был бы где-то прав... Я давно свернул с пути здравомыслия на те дорожки, которые многие врачи назвали бы галлюцинациями. Однако до безумия мне еще далеко: я прекрасно отдаю себе отчет в том, что столкнулся с

необъяснимым феноменом, а потому счел за лучшее молчать. Это молчание – единственное и последнее доказательство моего психического здоровья, я его хожу и лелею.

– Где ты встречался с Хосином и его отцом?

– Нигде.

– Где?

– Нигде и никогда.

– Да говори же, черт тебя подери!

– Я вам клянусь, что...

– Вот-вот! Давай, клянись, как все аферисты... Но лучше признайся сам, пока я не начал рыться в твоём прошлом. Вы с ним ходили в одну школу? Или в футбольный клуб? Или в подростковый центр Ла Гаренн? Может, вы были соседями по дому? Или еще где-то пересекались?

Я упрямо молчу.

Побагровев от ярости и затопав ногами, комиссар Терлетти заорал, что дело далеко не кончено, что он будет меня допрашивать, пока я не расколуюсь, а иначе не видать мне белого света... Он так ругался, что Марк, инспектор, с которым я составлял фоторобот, рискнул выступить в мою защиту:

– Извините, шеф, но, может, у Мустафы Бадави был брат, на него похожий? И дядя вполне мог завлечь племянника в экстремистскую организацию...

– У Мустафы Бадави не было брата!

– Надо бы поискать в их семье... Возможно, кузен или другой родственник... Лично я убежден, что Огюстен питает самые добрые намерения...

– Самые добрые?!

– Но я видел, как он старался помочь, когда мы составляли фоторобот.

– Старался помочь, скажите на милость!.. Скорее корова тебе поможет! Скорее осел тебе поможет! Ладно, хватит болтать, пора за работу!

И Терлетти покинул палату, даже не взглянув на меня; полицейские вышли за ним. На пороге Марк оглянулся, его лицо выражало полную растерянность, он словно хотел сказать: «Я знаю, ты описал то, что видел. Постараюсь успокоить и переубедить шефа».

Дверь с треском захлопнулась, и я услышал тяжелые шаги полицейских, уходивших в недра больницы. У меня стучало в висках, сердце едва не выскакивало из груди. Я был расстроен вконец! Расстроен тем, что расстроил их! Особенно Терлетти. Как мне хотелось стать для него нужным человеком! На протяжении нескольких часов я видел себя его глазами, его жгучими глазами; верил в собственную значимость, хотел заслужить его внимание, достойно ответить на его кипучую энергию, на страстную увлеченность этим расследованием, мечтал вознаградить его за все усилия. Взволнованный происшедшим, я с головой ушел в свою роль основного свидетеля, напрочь забыв главное: то, что я знал о человеке в джеллабе, размером с ворону, останется для него невидимым.

И вот теперь *finita la commedia!* [6 - Комедия окончена (ит.).] Я был сам себе противен.

В гневе я накрылся с головой одеялом, чтобы ничего не видеть вокруг. Вот так всегда! Всякий раз, как я решал вести себя честно, начинались недоразумения, меня принимали за неумелого лжеца и отшвыривали, точно ненужную тряпку.

Ах, если бы я мог сдохнуть!

Увы, миссия невыполнима...

И это угнетает меня больше всего: я никак не могу покончить со своей ничтожной жизнью. Что бы ни случилось, мое тело упрямо, механически

противится моему желанию умереть. Оно хочет существовать, и точка, – а чего ради?! Мой разум эфемерен, значение имеет только плоть, весомая, медлительная, неподатливая. По сути дела, я не способен ни жить, ни умереть. Мой удел – полная никчемность. «Ни на что не годен», – твердили мои воспитатели.

Так принесет ли мне облегчение смерть?

Сильно сомневаюсь.

Если она выражается в том, что ты ничего не стоишь в глазах окружающих, то я уже давным-давно умер. Даром что живой, я – мертвец, которому разве что не кладут цветы на могилку. И чтобы принести мне подлинное утешение, смерть должна избавить меня от мучительного сознания собственного ничтожества. А как в этом убедиться?!

– Ну-ка, вылезайте из своего домика, пора кушать!

Я откинул одеяло, и Соня поставила мне на колени поднос с ужином. Я смотрел на нее с мрачным подозрением.

– Огюстен, я поговорила с врачом: теперь вам разрешается ходить, можете даже гулять по коридору.

– В этой вот рубашонке?

– У вас есть халат, он висит за дверью в ванной.

Я неохотно, почти с отвращением, поел, мысленно спрашивая себя: к чему участвовать в этой комедии, кормить столь бесполезное существо?!

В результате, из гордости, я не доел ни одно блюдо. И не столько желая наказать себя, сколько стремясь убедиться, что я могу принудить к повиновению это проклятое тело, этот организм, наделенный бесполезными жизненными силами. Оставив почти полные тарелки, я слегка воспрянул духом, почувствовал уважение к собственной персоне и зашел в ванную, где облачился в махровый купальный халат сомнительной белизны, с вытертым до основы воротником.

Зеркало предъявило мне нелепое существо с худыми ногами под обвислыми полами просторного халата – точь-в-точь опрокинутый тюльпан с парой хилых пестиков.

Я прогулялся по коридору, заглядывая по пути в полуоткрытые двери других палат. Все телевизоры были подключены к новостным каналам, на всех экранах одна и та же картинка – Шарлеруа, Шарлеруа во время драмы, Шарлеруа после драмы, министры, шествующие по площади Карла Второго, сам король, возлагающий венок на паперти Святого Христофора. Восемь погибших, двадцать пять раненых. Далее шла нарезка из международных откликов на это событие, соболезнования от президента США, от президента России и прочих, все они выражали их, стоя у своего знамени. Это был настоящий конкурс сочувственных речей и призывов к братству народов. Шарлеруа стал центром всего мира.

Тут я вспомнил, что у меня самого в палате есть телевизор, вернулся и нажал на кнопку пульта. Увы, экран, подвешенный к потолку, сообщил мне, что за доступ к каналам нужно платить.

Приуныв, я снова пошел бродить по коридорам. И всюду больные и их посетители сидели, вперившись в экран. На этаже царила атмосфера всеобщей растерянности.

Я ловил обрывки речей, доносившихся из палат. Эксперты по безопасности, террору и антитеррору один за другим выступали перед зрителями, и каждый упорно, вдохновенно убеждал публику в правильности именно своего анализа, именно своей оценки события; однако после каждого выступления я знал не больше, чем вначале.

В центральной части коридора я увидел нечто вроде загона, огороженного кадками с пластиковыми пальмочками; там стояли кресла из искусственной кожи и телевизор – на сей раз бесплатный. Какой-то сгорбленный старик сидел на стуле чуть ли не под экраном, закинув голову, чтобы видеть изображение. На скамье у стены пристроилась стайка медсестер. Женщина в уголке, возле автомата с напитками, вязала пинетку из голубой шерсти.

Что значит стадное чувство, – я тоже присел и несколько минут смотрел эту информационную телемессу.

«Мусульманская община в шоке!» – заорал во весь голос какой-то репортер... Теперь камера двигалась по улицам Шарлеруа, демонстрируя женщин в чадрах, скорбно выражавших свое сочувствие. Все они напоминали зрителям, что истинный мусульманин никогда не поступил бы так, как Хосин Бадави. «Некоторые из них настолько потрясены, что им не хватает слов, дабы выразить невыразимое!» – добавил ведущий, после чего на экране возникла растерянная Умм Кульсум, стоявшая возле уличного прилавка бакалейщика. Объектив камеры задержался на ее физиономии с дряблыми губами, багровым носом и испуганными, точно у всполошенной курицы, глазами; на вопросы журналиста она отвечала невнятным бурчанием. Для всех, кто не знал, что она с утра до вечера накачивается пивом, Умм Кульсум была воплощением горя, охватившего маленькую мусульманскую общину.

Я не мог оторваться от экрана.

Ввиду того что ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв, гипотезы шли сплошным потоком. Список потенциальных преступников непрерывно повторялся, вызывая бесчисленные комментарии. Постепенно репортаж о реальных фактах превращался в роман о вымышленных. За недостатком точных сведений средства массовой информации изображали мир не таким, каков он есть, но таким, каким он мог бы быть, вернее, каким они хотели его показать. Виртуальная реальность заслонила конкретную. Шарлеруа, который я знал, они подменили другим Шарлеруа – выдуманным, изуродованным, показанным глазами злопыхателей; теперь он выглядел эдакой вавилонской башней ненависти, оплотом джихада, средоточием мелкого и крупного бандитизма, толкающего несчастных, сбитых с толку людей к терроризму. В этих сюжетах, да еще с соответствующим видеорядом, все нелегальное, незаконное, грязное брало верх над дозволенным, законным и чистым. Шарлеруа изображался какой-то клоакой, скопищем пустующих, заброшенных домов, складов, размалеванных мерзкими граффити, и подвалов, где хранится оружие; складывалось впечатление, что в городе нет ни мэрии, ни школ, ни лицеев, одни только буферные зоны, куда полиция боится совать нос. Как раз во время этого параноидального репортажа я с удивлением заметил быстро мелькнувший кадр: вполне нормальные детишки выходили из ворот хорошенького детского садика на вымытый тротуар, где их ждали вполне нормальные родители.

Шли часы, но эта вакханалия не кончалась.

Блицы фотоаппаратов. Коммюнике. Облеты города. Короткие сводки. Опросы населения. Первые реакции после взрыва.

Этот шквал новостей буквально выжег мне мозг, превратив его в пустую камеру, эхом повторяющую все, что ловил слух. Я уже верил в экранный пафосный репортаж, который становился чем дальше, тем убедительнее, подтвержденный той или иной газетой, пережеванный экспертами, санкционированный властями. Теперь я уже не рассуждал самостоятельно, а чувствовал лишь то, что позволяли мне чувствовать журналисты с их непререкаемым мнением.

- О господи, куда ни сунься, кругом опасно! - проворчала вязальщица.

- Лучше уж переехать отсюда подальше, - вздохнула одна из сестричек.

Репортаж перенесся к дому, где жил Хосин Бадави. Соседи утверждали, что парень всегда был спокойным, услужливым, вежливым. «Кто бы мог подумать... У нас здесь так тихо... Тут живут только приличные люди...» Показали мать; она выкрикнула сквозь слезы, что полиция ошиблась, обвинив ее сына: «Он был хороший мальчик! Очень хороший мальчик! Обожал всю нашу семью. Этого быть не может!»

Чей-то голос проворчал за моей спиной:

- Хороший... еще чего! Этого хорошего шесть раз выгоняли из школы, он и воровал, и с оружием баловался, и наркотой промышлял; в одиннадцать лет его уже загребла полиция, а с восемнадцати до двадцати двух его подвигов хватило на толстенное досье и несколько месяцев тюрьмы. Ну прямо ангелочек! Лично я, мадам Бадави, назвала бы его отпетым мерзавцем!

Обернувшись, я увидел следователя Пуатрено, прислонившуюся к стене.

«Такой милый мальчик!» - верещала, всхлипывая, мамаша.

Пуатрено злобно глядела на экран:

- Ну еще бы! Да она сама такая же преступница, как ее выродок... Эта мамаша во всем потакала своему сынку, а он никогда ее не слушался; боюсь, что мы с

ней расходимся во взглядах на хорошее воспитание. Что она имеет в виду, называя его милым мальчиком? То, что он не лупил палкой родную мать?

При этих словах она повысила голос, и к ней обратились все лица. Смущенно кашлянув, она извинилась:

- Не обращайтесь внимания, это нервы... просто нервы...

Успокоенные зрители снова прилипли к экрану.

Она тронула меня за плечо:

- Я пришла поговорить с тобой, Огюстен. Может, вернемся в палату?

Кивнув, я встал, собираясь идти за ней.

- Погоди-ка, я возьму себе кока-колу. Ничего не ела с самого утра.

Она сунула евро в автомат, и тот с жутким грохотом выдал ей банку колы.

- Я смотрю, вы одна, а где же месье Мешен?

- Мешен? Ну нет, он, бедняжка...

Она сорвала язычок с банки и задумчиво продолжала:

- Этот парень, конечно, симпатяга - преданный, вежливый, умытый и привитый, но должна тебе сказать, что пороха он не выдумает.

И она закатила глаза к потолку, словно искала там более вдохновенные слова:

- А хуже всего, что для демонстрации всех своих блестящих качеств он нуждается в девяти часах сна, и никак не меньше.

Она отпила из банки и поморщилась:

- Фу, какая гадость, такую отраву следовало бы продавать в аптеке!

И жестом предложила мне пройти по коридору.

- У тебя есть подружка?

- Что-что?

- Я спрашиваю, у тебя подружка есть? Хотя я-то прекрасно знаю, что нет.

- Почему вы так думаете?

- Иначе она была бы здесь.

Мы подошли к моей палате.

- А жаль! Ты заведи себе подружку... Ну ладно, ладно, меня это не касается. Но все-таки признайся, тебе хотелось бы?

- Э-э-э... д-да...

- Ну так за чем же дело стало? Ты, конечно, страшненький, но не более, чем все остальные мужики.

Я с трудом сглатываю слюну. Она чувствует, что обидела меня.

- Да-да, я повторяю: ты страшненький, но не более, чем все другие. Вот посмотри на меня: в твоём возрасте я уже завела себе дружка! Хотя вовсе не была мисс мира.

И она резким жестом отбрасывает со лба непокорную прядь.

- И не «мисс Бельгия», и даже не «мисс Шарлеруа». Мисс Ничтожество – вот мой титул. Все очень просто, в шестнадцать лет меня не приняли в мажоретки! И вот что я тебе скажу...

Я вздрагиваю. А она продолжает победным тоном:

– Представь себе, Мешен женат на такой красотке – настоящая Венера, ей-богу! Люди прямо балдеют, когда видят их вместе. Да и я тоже... Мало того, у них родилось трое детишек, таких же пригожих, как их мать! Вот видишь, пути наследственности неисповедимы...

Я укладываюсь в постель, а она садится рядом.

– Скажи, Огюстен, ты дурак?

Я прямо цепенею от такого вопроса. А следователь Пуатрено невозмутимо продолжает:

– Вот как комментирует твое заявление комиссар Терлетти: ты решил нас провести, направив на след покойника. Как он это объясняет? Очень просто: он считает тебя болваном, маразматиком, у которого на уме только одно – привлечь к себе внимание.

Она смеется.

– Наш дорогой Терлетти горазд на прямолинейные решения. У него, наверно, и пальцы растут под прямым углом. Ты заметил, какой он волосатик? Растительность прет у него отовсюду – из ворота рубашки, из-под обшлагов! Лично у меня это вызывает серьезные подозрения. О, я не считаю, что обилие мужских гормонов так уж отвратительно, – скорее наоборот, если уж хочешь знать, – но не очень-то верю теориям, родившимся от избытка тестостерона. Тебе понятно, что я имею в виду?

– Нет.

Она встает и подходит к окну, затянутому пеленой дождя, сквозь которую едва пробивается бледно-оранжевый свет фонарей.

– Знаешь, Огюстен, передо мной каждый божий день проходят преступники. Хулиган, который потрошит машины среди бела дня. Дилер, торгующий дурью прямо под камерами наблюдения. Продавщица из магазина готовой одежды,

которая таскает из торгового зала платья, носит их, а потом возвращает на вешалки, даже не постирав. Ночной охранник, устраивающий выпивон на рабочем месте. Бармен, который тайком отхлебывает из бутылок. Дальнобойщик, забросивший пару ящиков с товаром к себе домой. Кассир, переводящий банковские средства на свой счет. Уборщица, которая таскает у хозяина чеки и подделывает на них его подпись. Подросток, угрожающий лавочникам водяным пистолетом. Фальшивые слепцы, фальшивые калеки, фальшивые нищие и так далее и тому подобное... В глазах полиции или государства они – правонарушители, а для меня в первую очередь тупицы. Никчемные тупицы! Которые засыпаются на первом же проступке. И получают свою первую судимость из-за каких-то несчастных пятидесяти или ста евро, из-за такой ерунды... Ты пойми: чтобы стать настоящим преступником, нужно быть очень хитрым и находчивым. А у них в голове ума не больше, чем у вареной улитки. Вообще, когда я выжимаю из них показания, мне бывает так скучно, что я в конце концов сама им указываю, как ловко нужно было действовать, на какие тонкие комбинации идти, к каким блестящим уловкам прибегать, какие сложные ходы придумывать ради успеха предприятия. «По крайней мере, тогда я хотя бы уважала вас!» – говорю я им. Они слушают меня разинув рот; будь у них хоть капелька соображения, я бы побоялась, что тем самым прочищу им мозги, но нет, я ничем не рискую! Большинство людей не имеют никакого понятия о совершенстве, они мыслят на уровне своих примитивных инстинктов. Сплошное убожество! Я избрала профессию следователя, чтобы отточить интеллект, а посвящаю свои дни каким-то слизнякам. Следователь... да это просто смеху подобно! Я работаю с приматами!

Она снова садится и начинает что-то искать в своем портфеле.

– Впрочем, они до того глупы, что не возмущаются, даже когда я говорю им это в лицо.

И она вытаскивает из портфеля пакетик леденцов.

– Типичного дурака сразу можно распознать именно по этому признаку, а в их лексиконе даже слова такого нет.

И она протягивает мне пакетик:

- Хочешь? Они без сахара. Не очень вкусные, зато безвредные. Я предпочитаю этот сорт, с ароматом фиалки.

- Нет, спасибо.

- А ты – дурачок? Ну скажи откровенно: ты глуп?

Говорю, опустив глаза:

- Я и сам часто задавал себе этот вопрос...

- ...что уже свидетельствует о более высоком уровне интеллекта. Ну и?..

- ...и сделал вывод, что страдаю серьезными недостатками – излишней доверчивостью, ленью, медлительностью, – но никак не глупостью. Может, я не слишком умен, как некоторые, но и не круглый дурак.

- Вот и я думаю то же самое. Только законченный идиот мог сотворить такое, надеясь, что его не уличат.

- Не понял?

- Ну, заявить, что ты видел человека, зная, что он мертв. И подробно описать, а потом составить фоторобот и узнать его на снимках – словом, предоставить нам максимум признаков, которые помогли нам установить, что его больше нет на свете, твоего старичка.

Она бросает в рот леденец и начинает гонять его от щеки к щеке.

- Никогда не могла понять, почему я обожаю эту гадость. Хотя... то же самое и с куревом. Похоже, меня тянет только на вредное... А ты помнишь свою первую сигарету?

- Да.

- И как ты ее нашел?

- Мерзкой.

- Значит, она первая, она же и последняя? Ты больше не курил?

- Верно.

- Ну вот, я же говорила, что ты не глуп. - И, усевшись, она вздыхает: - К тому же не так упрям, как я! И не такой тупица, как Терлетти!

Она уныло заглатывает еще один леденец, потом в упор смотрит на меня:

- Нет, Огюстен, ты нам не соврал. Даже самый безмозглый дебил и тот не решился бы на такое наглое вранье! Ты ведь сказал нам правду, верно?

- Да.

- Но только ты сказал нам не ВСЮ правду.

Я колеблюсь. Она наговорила столько всякого-разного, вдавалась в такие подробности и нюансы, что заморочила вконец. Вцепилась в меня намертво, гипнотизируя, точно удав кролика.

- Так это правда или нет?

Я все еще колеблюсь.

Тронув меня за плечо, она шепчет:

- Так это правда?

- Правда.

Она удовлетворенно кивает:

- Хочешь, я тебе помогу?

– В чем?

– Говорить.

– Я не собираюсь говорить.

– Вот я тебе и помогу. Это можно выразить одной фразой.

Она пристально смотрит мне в глаза:

– Ты видишь мертвых, Огюстен?

И следователь Пуатрено склоняет голову к правому плечу, словно ей легче разобраться во мне под таким углом. Помолчав, она повторяет – сдержанным, доверительным, почти умиротворяющим тоном:

– Значит, ты видишь мертвых?

Она не насмехается надо мной, она именно задает вопрос, как это делала Карина во времена моего детства. И этот же вопрос она, видимо, задает самой себе, потому что размышляет в ожидании моего ответа.

Я разглядываю ее овальное, гладкое лицо со стертыми чертами; глаза кажутся круглыми пуговицами, нашитыми на голову тряпичной куклы; она не вызывает у меня никакого враждебного чувства. Мягкого света ночника в изголовье моей кровати хватает только на наши лица, а метром дальше его поглощает темнота. Время уже за полночь, и этот густой мрак вкупе с мертвой тишиной создает у меня впечатление, что только мы двое и бодрствуем в мирно спящей больнице.

– Ты видишь мертвых, Огюстен?

Вопрос трепещет, повисает в воздухе между нами. Сказать ей правду?

– Некоторые мертвецы менее мертвы, чем остальные. Они обитают среди живых.

– И ты таких видишь?

Испутив тяжкий вздох, означающий: «Спокойно, не торопите меня!», я начинаю терзать заусеницы около ногтей, лишь бы избежать взгляда следователя Пуатрено, уклониться от его гипнотической силы.

– Я долго размышлял, мадам Пуатрено, и пришел к выводу, что большинство покойников исчезает безвозвратно. Иначе у нас тут началась бы такая давка – пальцем не шевельнешь, чтобы не задеть какого-нибудь призрака. Вы только вдумайтесь: в настоящий момент нас на Земле восемь миллиардов, но если прибавить к ним прежних, тех, что существовали во все предыдущие два миллиона восемьсот тысяч лет, то численность населения нашей маленькой планетки взлетит до сотни миллиардов душ! – Я отдираю засохшую полоску кожи у ногтя большого пальца правой руки и добавляю: – Правда, мне неизвестно, куда подевались те, давние мертвецы.

– Очень просто – стали прахом! Такова участь всех покойников.

– Мм...

– Их тела обратились в перегной, а затем попали в цветы, в деревья, в животных. Я уверена, что даже в нас есть крошечные частички умерших!

Я пристально гляжу на нее: осознает ли она, до какой степени права? Однако решаюсь ей возразить:

– А я думаю, что они витают вокруг нас.

– Вокруг?!

И следователь Пуатрено скрещивает руки на груди.

– Огюстен, ты меня за дурочку, что ли, держишь? Рассуждаешь о мертвецах, которых ни ты, ни я не видим. Какое нам до них дело?

- Но незримое существует, разве нет?

- Конечно! Вот именно поэтому я тебя и мучаю вопросом: ты видишь мертвецов, которых я не вижу?

- Да, но только тех, которые наименее мертвы.

Она отряхивает брюки, скрещивает ноги, потом меняет позу, откашливается, смотрит на окно и на дверь, словно ищет выход. И наконец восклицает:

- Придется мне поостеречься!

- Кого - меня?

- Себя самой! Я что-то стала чересчур доверчивой.

И, убедившись, что нас не подслушивают, наклоняется ко мне:

- Давай рассказывай...

- Вначале я не понимал, что происходит. Люди не обращали никакого внимания на некоторые существа, которые я видел; иногда те имели нормальные габариты, но чаще всего - уменьшенные. Что в них было особенного? Они удивляли тем, что появлялись и исчезали в любой момент, свободно проходя сквозь стены, пол и потолок. Они никогда не входили через дверь и не выходили через окно. Возникали и улетучивались свободно, не обращая внимания ни на какие препятствия. И каждый раз появлялись, чтобы сопровождать кого-то одного, не заботясь о других людях, в том числе и обо мне. Если я обращался к ним, они и ухом не вели, самое большее, бросали на меня взгляд, словно говоривший: «Ты-то тут при чем?» Сейчас, задним числом, я даже начинаю сомневаться, что этот взгляд был адресован именно мне. Может, это просто мои фантазии.

Мне не терпится развить эту тему, но жадный взгляд следователя Пуатрено заставляет меня продолжать. И я, переведя дух, рассказываю дальше:

- Главное отличие этих существ от людей состоит в том, что они гораздо более экспрессивны. На лице призрака всегда отражается одно-единственное чувство, но оно настолько сильно, что ни одному, даже гениальному, актеру никогда не достичь такого накала выразительности. Эти лица способны передать любую эмоцию - уныние, ехидство, недоверие, боль, даже равнодушие; например, в нашей школе одну девочку, рыжую Изабель, всегда сопровождала мать уменьшенного размера; я никак не мог понять, зачем она так липнет к дочери: судя по ее виду, она смертельно скучала.

- Она разговаривала с девочкой?

- Нет, просто смотрела на нее с надутым видом, и больше ничего. Полнейшее безразличие!

- А ты делился своими соображениями с близкими?

- Да. Я пробовал рассказывать об этих... летучих созданиях, но скоро понял, что напрасно досаждаю людям: они недоумевали, хмурились, если я настаивал, а потом и вовсе приказывали мне замолчать. Я тогда уважал взрослых, и мне казалось, что они попросту притворяются, будто не видят их. Да и ребята, мои сверстники, вели себя точно так же. Из этого я сделал вывод, что о некоторых существах не принято говорить вслух. Просто нельзя, и все. Ведь существуют же в Индии неприкасаемые, отвергнутые всеми другими кастами; один их вид оскверняет окружающих, а тень заражает тех, кто на нее наступил. И вот когда я увидел репортаж об этих париях, то окрестил своих летучих призраков Неназываемыми.

- А когда же ты понял?..

- Что они скорее Невидимые, чем Неназываемые?

- Нет, когда ты понял, что они мертвы?

- Однажды меня озарило на похоронах. Это были первые - и, кстати, последние - похороны, на которых я присутствовал. Мне было тогда шесть лет, и соцработники отдали меня в приемную семью Гульмье, жившую на ферме в Меттэ. Рауль, старший брат мадам Гульмье, которого я часто видел в их доме по воскресеньям, скончался от сердечного приступа. В день печальной церемонии

мадам Гульмье не с кем было оставить своих шестерых приемных детей, и она взяла нас с собой на похороны Рауля. Честно говоря, я не особенно горевал. Меня разморило от запаха мастики, которой натирали сиденья и молитвенные скамеечки, я дремал во время мессы, зевал, пока присутствующие выражали соболезнования семье покойного, и спотыкался от усталости, следуя за гробом, который несли через деревню на кладбище. Меня заинтересовал только сам момент погребения, когда я смотрел, как гроб спускают на веревках в могилу. Это зрелище не столько расстроило, сколько увлекло меня; я зачарованно следил за чинным ритуалом, разглядывал стоящих рядом родственников покойного, могильщиков, молча и споро делавших свое дело, кюре, готового произнести отходную, и толпу прихожан, единодушно склонивших головы во время молитвы, вслед за чем повторилась церемония выражения соболезнований. Но тут настал мой черед размахивать кадильницей, и теперь меня заботило только одно – как с ней управиться; я уже начисто забыл о покойнике. Мадам Гульмье, убитая горем, долго еще стояла у могилы и никак не хотела уходить, а мы, все шестеро, понурившись, терпеливо ждали рядом. На аллее остались только близкие родственники. Могильщик засыпал яму и сделал сверху аккуратный холмик, на который служащие похоронного бюро возложили венки и букеты, и вдруг я увидел, как покойник выскользнул из-под земли, взлетел в воздух, развернулся и, не колеблясь, сел на плечо жены и на плечо дочери. Да-да, это был он, Рауль, только размером с птицу. Я сразу его узнал. И завопил. Ко мне обернулись.

«Какая муха тебя укусила?» – воскликнула мадам Гульмье.

«Да так...» – пробормотал я, боясь сказать правду.

«Ничего странного, мальчик взволнован», – прошептала одна из кузин.

А я не мог оторвать взгляд от Рауля. Он сидел на двух плечах. Я подчеркиваю: сразу на двух плечах – у дочери и у молодой жены. Раздвоившись!

– А у него были другие дети?

– Два взрослых сына от предыдущего брака; они стояли тут же, в трауре, возле своей матери. Но к ним Рауль не подлетел.

– Странно, не правда ли?

– Что именно вы находите странным? Что мертвец вылез из могилы? Что он уселся на плечи своей дочери и второй супруги? Или что он пренебрег старшими сыновьями и первой женой?

Мои вопросы словно привели в чувство следователя Пуатрено; она встряхнулась, как собака, которая хочет избавиться от веточек и травы, застрявших в ее шерсти, только моя слушательница хотела избавиться от назойливых мыслей. Машинальным жестом она снова запустила руку в пакетик с леденцами.

– Хочешь?

– Нет, спасибо.

– Ты прав, они действительно мерзкие, – подтвердила она, сунув в рот сразу две конфетки. И уже слегка успокоившись, захрустела ими. – Ну ладно, так как же ты сам это объясняешь? Мертвец, оживший ради двух женщин... Если уж он смог раздвоиться, то что ему стоило появиться в четырех экземплярах? Он ведь так и так ожил, почему же не для всех?

– Мертвые не возвращаются сами по себе, их вызывают живые.

– Как это?

– То, что я вам сейчас расскажу, я осознал гораздо позже. Рауль заботился о своих сыновьях, пока они не достигли зрелого возраста, – направлял их в учебе, помог сделать первые шаги в профессии. Эти парни получили от него все, что можно получить от хорошего отца; они стали взрослыми мужчинами, свободными и самостоятельными. И теперь, несмотря на это горе, могли уверенно идти дальше по жизни. Тогда как его восьмилетняя дочка и молодая жена все еще нуждались в нем, а он прожил с ними всего ничего... Бесследно исчезают те мертвые, которые отдали живым все, что могли, а возникают как раз те, кто еще не выполнил свой долг до конца.

– Стало быть, их можно назвать должниками?

Я засмеялся:

- Тогда живые, наверно, чувствуют себя заимодавцами. Некоторые из нас так и не свели счета со своими покойниками.

Похоже, эти слова задели ее за живое; она задумчиво трет подбородок. Я заканчиваю рассказ:

- В тот день я убедился, что никто не видит Рауля, а его родные сочли, что я попросту хотел вызвать у них удивление, испуг, умиление или беспокойство. Напрасно я ждал: их взгляды были устремлены куда угодно, только не на него, и ни на чем особо не задерживались. Я был единственным, кто его видел.

- И это тебя испугало?

- Что «это»?

- Что ты один его видел.

- Да нет, я тогда уже привык.

Взволнованная этим признанием, следовательно Пуатрено непроизвольно гладит меня по плечу, но, спохватившись, отдергивает руку, выражая свое сочувствие только взглядом.

- Тебе достался особый дар, Огюстен.

- Дар, от которого никакого толку.

- Кто знает...

- Дар, из-за которого меня считают слабоумным.

- Я так не считаю.

- Вы, может, и не считаете, потому что вас тоже считают слабоумной.

Она дергается, высоко поднимает голову и становится похожей на разъяренного страуса. Я виновато опускаю глаза:

- Простите, мадам Пуатрено, я не хотел вас обидеть.

- Ты попал в яблочко. На меня часто смотрят как на идиотку... - И с усмешкой договаривает: - Что мне, кстати, нередко помогает.

- Вот как?

- Из-за этого люди меня не опасаются. Например, преступники, принимая меня за растяпу, частенько проговариваются у меня на допросе, а их адвокаты допускают больше промашек; в общем, все они попадают впросак. Ну а уж мои коллеги...

Но тут она осекается.

- Стоп! Я пришла не для того, чтобы болтать о себе...

И смотрит на меня так строго, будто я виноват в том, что она расслабилась. Но я подхватываю:

- Хочу вам заметить: и не для того, чтобы говорить обо мне.

- Верно. Давай лучше поговорим о твоём даре. Скажи-ка мне вот что: те, у кого на плече сидит такой вот призрак, замечают его?

Честно говоря, я никогда не размышлял о явлении мертвецов в таком ясном, конкретном аспекте и теперь вынужден рыться в памяти, собирая образы, впечатления и подробности, накопившиеся там за годы вынужденного молчания.

- Некоторые не замечают. Это самые мрачные, самые замкнутые живые. Наименее живые из всех.

- То есть те, кто не осознает свои проблемы.

– Именно. Они не видят усопших, смотрят сквозь них. И как следствие, постоянно от этого страдают. Я знал одну такую – это была наша учительница, мадемуазель Боматен, ее жених погиб, разбившись на мотоцикле. Я-то его отлично видел, этого покойного жениха, он часто появлялся в классе – либо на доске, либо за ее стулом, когда она молчала. Красивый такой парень, зеленоглазый блондин. Я обожал на них смотреть, вместе они составляли прекрасную пару.

– Значит, ты его видел, а она нет?

– Пока она наблюдала, как мы пишем классное задание, он пытался общаться с ней, ласкать, обнимать. Никакой реакции. Она сидела бледная, хмурясь и не раскрывая рта. А когда к нам в школу пришел новый физкультурник, молодой, беззаботный весельчак, – он был у нас тренером, – тот, первый, подлетел к ней и стал указывать на него, но она даже не взглянула в его сторону. И такая же история с помощником булочника, который привозил нам полдники; он втюрился в мадемуазель Боматен, и бедняга-блондин уж так старался ее расшевелить, но она и на этого – ноль внимания. Недавно я узнал, что она стала тяжелой эфироманкой и по решению министерства образования ее отстранили от работы в школе; теперь она преподает только заочно.

– Как, неужели она стала нюхать эфир?

– Да, эфир – это наркотик порядочных девушек. Вполне респектабельное зелье. И недорогое. Не нужно зависеть от дилера, достаточно сходить в аптеку.

– Зато как он мерзко пахнет!

– Подумаешь, какое дело! Люди считают, что вы просто больны.

– Вот именно...

– Мадемуазель Боматен так никогда и не заподозрила присутствия покойного жениха в своей жизни. Я думаю даже, что она плохо его знала, – я-то изучил его куда лучше и заметил, что он желает ей воспрянуть, начать жизнь заново, найти другого мужчину. Но могу вас утешить, мадам Пуатрено: большинство живых все-таки видят мертвых, которые их сопровождают.

– Ты даже представить себе не можешь, как ты меня утешил! – отвечает она с иронической усмешкой.

И мы оба смеемся.

– Я видел, как многие мертвые оживленно беседовали с теми, кого сопровождали. Например, Мустафа Бадави, отец того смертника.

– А ну-ка, опиши мне эту сцену.

– Мне кажется, Хосин воздержался бы от теракта, если бы мертвец не принудил его.

– А ты слышал, что он говорил сыну?

– Ни слова. И в любом случае он наверняка изъяснялся по-арабски; мертвецы не меняются к лучшему и вряд ли становятся полиглотами. Но могу предположить, что он убеждал Хосина дойти до площади Карла Второго и заставлял его совершить теракт.

– Значит, мертвые имеют какую-то власть над живыми?

– Власть мертвых – это та власть, которую предоставляют им живые.

Следователь Пуатрено качает головой и, прищурившись, смотрит на меня. Она уже открыла рот, чтобы задать мне очередной вопрос, который не дает ей покоя, но тут у нее звонит мобильник.

– Ах, черт! – восклицает она, хватая телефон, читает имя вызывающего и, вторично чертыхнувшись, оборачивается ко мне. – Прости, я должна ответить.

Она хватая свой портфель, выходит в коридор, и я слышу ее удаляющийся голос.

Уход следователя меня расстраивает: я переполнен таким множеством историй и долго сдерживаемых эмоций, которыми наконец могу с кем-то поделиться, а ее нет. Хорошо бы она поскорей вернулась, пока у меня не исчезло желание

облегчить душу!

С досады я встаю, потягиваюсь, разминаю ноги.

Меня привлекает окно. Сейчас я могу озирать мир только из него, поскольку телевизор не работает, а спуститься с четвертого этажа мне запрещено.

Стекло сплошь забрызгано дождевыми каплями, сбегающими вниз. За этими струйками стоит густой ночной мрак, кое-где разреженный слабенькими оранжевыми огоньками фонарей вдоль шоссе.

Город спит. На улице ни одной легковушки, ни одного грузовика. Только одинокий мотороллер тарыхтит в этой заколдованной тишине; по временам он коротко взрывает, но тут же стихает, оставляя за собой еще более пустое, еще более застылое безмолвие.

– Ой, какая у нас хорошенькая попочка!

Я вздрагиваю от этого жирного, насмешливого голоса. Оборачиваюсь и вижу на пороге Пегара.

Он упивается моим видом: поднявшись с койки, я забыл надеть халат и стоял у окна в одной рубашонке, открывающей спину и голые ягодицы. Жалкое зрелище, что и говорить.

Торопливо отступаю к кровати, передом к Пегару, и поскорей ложусь.

– Добрый вечер, месье Пегар.

– Ты меня не ждал, верно? Небось, удивляешься: кто это разрешил посещения среди ночи?

– Действительно, кто же это разрешил посещения среди ночи?

– Знаменитая газета «Завтра» открывает любые двери, мой дорогой! Я посулил бесплатную подписку вахтеру и дежурной медсестре на первом этаже. Информация прежде всего! Итак, мой милый Огюстен, что новенького ты

можешь мне сообщить?

- Ничего. Что со мной может случиться в больничной палате? Разве что умру или выздоровею.

- Надеюсь, ты настроился на выздоровление?

- Да.

- Прекрасно!

Он вынимает сигару и начинает ее разминать.

- А другие пострадавшие с тобой ничем не поделились?

- На этом этаже никто не разговаривает. Пациенты круглые сутки заглатывают сообщения, которыми кормит нас телевизор. Прямо как куры, которым насыпали зерна.

- Ну если ты забыл поделиться со мной какой-нибудь мелочью, так сейчас самое время.

Мне не терпится объявить ему, что я и впрямь вспомнил одну «мелочь», а именно что газета «Завтра» пока еще не заплатила мне ни гроша за работу стажером, хотя мое свидетельство о взрыве раздуло ее тираж до невиданных размеров.

Но этот человек обладает свойством нагонять на меня страх. Поэтому я оставляю свои запросы при себе и только осведомляюсь слабым голосом:

- А как разошелся вчерашний тираж?

- Мм... как обычно.

- Разве его не увеличили?

– Насколько я знаю, нет.

– И на наш сайт тоже заходили как обычно?

– Д-да.

– Странно! А я слышал, что во время таких важных событий пресса получает огромную...

– Но не мы!

Этот окрик действует на меня, как свирепый апперкот. Пегар багровеет, на его лбу вздулись жилы, он безмерно возмущен моей настойчивостью. Я-то понимаю, что он лжет. Сейчас он пустит в ход тяжелую артиллерию – весь свой непререкаемый авторитет – с единственной целью: заткнуть мне рот, связать по рукам и ногам, лишь бы я не стал доказывать, что обогатил газету, лишь бы не потребовал свою долю. Я знаю этого монстра, с его меркантильной душой, как облупленного, но что толку – его жестокость и самомнение все равно берут верх над моей робостью.

– Надеюсь, тебе полегчало? – спрашивает он приторным тоном, желая меня убедить, что финансовые затруднения газеты ничуть не повлияли на его человечность.

– Это выяснится завтра.

Он чешет в затылке.

– А ты доволен тем, как тебя лечат? И вообще, как ты считаешь, скорая помощь отреагировала достаточно быстро? Ты надеешься, что Бельгия готова справиться с такой лавиной медицинских проблем? Компетентность врачей и санитаров скорой не вызвала у тебя сомнений?

Я тотчас угадываю, куда он клонит. Ему не терпится выпустить газету с броскими заголовками: «Переполненные больницы», «Хаос в операционных», «Медицинский ад», «Когда же правительство выделит достаточные средства на лечение граждан?». У него уже слюнки текут при одной мысли о том, какой

страх, какое негодование вызовут в обществе эти статьи. В этом человеке есть что-то сатанинское.

И я пускаюсь в подробное описание теракта, вываливая на Пегара все подряд – растерянных спасателей, переполненные санитарные машины, ужас и панику людей, нехватку операционных, нехватку медикаментов, нехватку персонала...

У него хищно блестят глаза. Он записывает, подчеркивает, обводит кружочками. Он смакует каждое слово.

Я же, со своей стороны, рисую преувеличенно жуткую картину случившегося, выбираю одни только негативные факты, которые вдобавок раздуваю и перевираю, яростно жестикулируя, с пеной у рта.

Господи, что это со мной?! Зачем я вру, зачем грешу против истины? Да чтобы поразить босса. Ублаготворить его. Стать ему необходимым. Сделаться его доверенным лицом. Доказать, что я принадлежу к той же касте, что и он, – касте журналистов! Я потерпел фиаско при разговоре с Терлетти и теперь беру реванш в разговоре с Пегаром. В глубине души я сознаю, что веду себя подло, низко, недостойно, но, даже сгорая от стыда, лезу в эту грязь.

А Пегар торжествует. Ему уже видятся жирные заголовки, шокирующие подписи под снимками, едкие комментарии – словом, все, что он вскоре выпустит из типографии. К теракту он добавит и общественный скандал. К ужасу теракта – страх. К горю – новые горести. Я завершаю свой рассказ жалобой на палату, где меня лишили телевизора и обрядили в неприличную рубашонку, которая ограничивает свободу передвижения пациента («В наручниках – и то было бы легче!»); где бесцеремонная полиция непрерывно терзает меня допросами «в интересах следствия», тогда как ей плевать на мое здоровье и мои травмы; где, наконец, я нахожусь под усиленным надзором, препятствующим выздоровлению.

Я сам себе отвратителен, но это отвращение подпитывает мою энергию, и я завершаю нарисованную мной апокалиптическую картину с подлинным вдохновением.

– Шикарно! – восклицает Пегар и аплодирует.

Совершенно ясно, что мои личные невзгоды не вызывают в нем ни малейшего сочувствия. Может, он просто догадывается, что я ему наврал с три короба?

Он сидит и барабанит пальцами по обложке своего блокнота.

– Отличная работа! – Но, заметив, как настойчиво я на него смотрю, тут же делает каменное лицо. – Рассказ, конечно, неполный, но я постараюсь выжать из него все, что можно. – И он встает. – Спасибо за информацию, Огюстен.

– Надеюсь, вы сопоставите ее с другими отзывами.

– Ну разумеется, сопоставлю! Я ведь настоящий журналист, а не какой-нибудь репортеришка!

Я прекрасно знаю, что ничего он сопоставлять не будет, а сейчас же побежит в газету и не слезет с дежурного редактора, пока тот не подпишет номер в печать.

Он смотрит на часы:

– Ой-ой-ой, время-то поджигает! Ну, до завтра, мой милый!

Я усмехаюсь: теперь, когда Пегару есть чем заполнить страницы нашей газетенки, он смотрит на меня как на отработанный материал.

Он открывает дверь грубым толчком, от которого она еще долго качается после его ухода.

И вот я снова один.

Надеваю халат и иду в санузел. На унитазах, поставив локти на коленки и опершись подбородком на кулачки, сидит девочка со светлыми косичками.

– А ты что здесь делаешь?

– Я... мне нужно было пи-пи...

Она краснеет и отводит глаза. Я медленно, чтобы не испугать, подхожу к ней.

- Ты прячешься...

- Он всегда говорит, что при этом нужно вести себя скромно.

- Кто «он»?

Вместо ответа девочка только пожимает плечами – ну ясно же кто! Но я все-таки уточняю:

- Месье Пегар?

Она кивает, явно дивясь моей тупости.

- А почему ты всюду ходишь за месье Пегаром?

- Ну как же, это ведь мой папа.

- Тогда поторопись, он только что ушел.

Девочка широко открывает глаза.

- Он поехал в редакцию, а тебя оставил.

При этих словах я на какую-то долю секунды машинально оборачиваюсь к двери, потом гляжу назад. Девочки уже нет, она исчезла.

Бросаюсь в палату, распахиваю дверь в коридор, выглядываю.

И вижу вдали Пегара и девочку, которая идет за ним следом, напевая и прыгая то на одной, то на другой ножке, словно играет в классики на клетчатом линолеуме коридора, ведущего к выходу. Так они оба и проходят мимо поста охраны.

Я задумчиво провожаю их взглядом, как вдруг на мое плечо ложится чья-то рука. Следователь Пуатрено. Она убирает свой мобильник и, нахмурившись, спрашивает:

- Что сей сон значит? Неужели это был мерзавец Пегар?

- Да, он приходил... вместе со своей дочкой.

- С дочкой? Ты что - шутишь?

- Вовсе нет.

- Его дочь умерла тридцать лет назад!

- Вот о ней-то я и говорю.

Следователь Пуатрено чешет за ухом. Должно быть, телефонный разговор увел ее далеко от нашей беседы, - ей нужно не меньше минуты, чтобы вернуться к теме.

- Пойдем-ка лучше к тебе в палату, Огюстен. Не хочу, чтобы нас тут застукали, еще обвинят меня в том, что я не даю тебе покоя.

И вот мы снова в палате, она на стуле, я в койке. По коридору пробегает медсестра, звучит испуганный шепот, но через несколько секунд все стихает.

- Странно, что его сопровождает мертвая, - говорит Пуатрено, недоуменно хмурясь. - Это ведь означало бы, что Пегар, хоть он и мерзкий тип, ведет какую-то внутреннюю жизнь, способен питать глубокие чувства - душевную боль, грустные воспоминания...

- И любовь...

- Огюстен, не увлекайся!

- А может, он стал мерзавцем как раз после трагедии? Отчего она умерла?

– Не помню, кажется, в результате несчастного случая у него в доме. Так вот, уверяю тебя, что он вел себя одинаково и до потери дочери, и после. Как был мерзавцем, так и остался.

– Удивительно...

И мы оба задумываемся, каждый о своем.

Пегар, сломленный горем? Нет, ему не доступны ни сожаления, ни угрызения совести. Деньги – вот единственное, что его воодушевляет. Даю голову на отсечение, что он способен продать за десять евро отца с матерью и детей в придачу.

Должно быть, следователь Пуатрено пришла к тому же выводу, поскольку переходит к другой теме:

– А за мной ты видишь какого-нибудь мертвого?

Она хорошо владеет собой, но кое-какие мелкие признаки – подрагивающий подбородок, учащенное мигание – выдают ее боязнь. Она вздрагивает, но заставляет себя унять эту дрожь и не поворачивать голову: ей страшно оглянуться – вдруг ее тоже окружают мертвецы?!

Выдержав долгую паузу, я говорю:

– Нет.

Она с облегчением откидывается на спинку стула.

– И это внушает мне доверие к вам, – добавляю я.

Следователь Пуатрено шумно переводит дыхание. Я использую эту паузу и заговариваю о том, что меня мучит с самого начала беседы:

– Мадам, хочу вас предупредить: я приношу несчастье...

- Что-что?

- ...приношу несчастье тем, кто меня слушает. Карина... ну... та женщина-психолог, которой я доверился... в общем, она...

- Ну, что она?

- Ее сбила машина, насмерть. Вроде бы совпадение – но это произошло сразу после нашей беседы.

Следователь Пуатрено ежится:

- Тебя послушать, так прямо страх берет.

- Согласен.

Она встает и начинает прохаживаться вдоль кровати, попутно барабаня пальцами по металлической спинке.

- Ах ты, гадкий мальчишка! Ненавижу тебя! Ты же просто морочишь меня своими бреднями! История за историей, басня за басней, – может, ты просто сочиняешь их? Заговариваешь мне зубы, а я все глотаю, как последняя дурочка. Да, не зря дорогие коллеги считают меня полоумной.

Она говорит шутливым тоном, но в ее голосе я различаю легкую тревогу. К счастью, именно это и доказывает, что она мне поверила.

На улице все еще темно. Следователь Пуатрено подходит к окну и рисует узоры на запотевшем стекле.

- Как ты объясняешь тот факт, что видишь мертвых?

- А как вы объясняете тот факт, что живете?

- Ты отвечаешь вопросом на вопрос, это не годится.

– Иногда можно ответить на какой-то вопрос лишь с помощью другого.
Разгадывая тайны, мы движемся наугад.

– Вот именно! Одни только кретины не задают вопросов и ничему не удивляются.

– Ну почему же – есть кретины, которые удивляются всему подряд.

Она улыбается мне:

– С тобой не соскучишься, Огюстен.

Подойдя к кровати, она разглядывает меня. Ее участие согревает мне душу, я начинаю чувствовать себя значительно лучше.

– Доброй ночи, Огюстен.

Как это она догадалась, что именно сейчас меня стало клонить в сон? Я с трудом поднимаю набрякшие веки:

– Доброй ночи, мадам.

И закрываю глаза. Госпожа следовательно бесшумно удаляется.

6

Башенные часы отзванивают пять утра. Почему я их слышу – ведь я вроде спал...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Шарлеруа – город в валлонской части Бельгии, на реке Самбр, в 50 км южнее Брюсселя. (Здесь и далее – примеч. перев.)

2

Сердце мое из-за тебя смутилось; пропало то, что было обещано... (араб.)

3

«Вспомни обо мне» – слова из песни «Озкорини». Исполнительница Умм Кульсум (1904–1975) – знаменитая египетская эстрадная певица.

4

Джеллаба – традиционная берберская одежда, представляющая собой длинный свободный халат с остроконечным капюшоном и широкими рукавами.

5

Магриб – общее название для стран Северной Африки.

6

Комедия окончена (ит.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/erik-emmanyuel-shmitt/chelovek-kotoryy-videl-skvoz-lica>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)